

БОРЬБА ПАРТИЙ ВО ФРАНЦИИ ПРИ ЛЮДОВИКЕ XVIII И КАРЛЕ X

(Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, par Guizot. Tome I-er 1858)

Статья первая

Книга Гизо. — Роялисты и либералы во время Реставрации. — Отношение этих партий к королевской власти и к свободе. — Истинный характер той и другой партии. — *Chambre introuvable*¹ 1815. — Фуше. — Герцог Ришелье. — Амнистия. — Король принужден распустить роялистскую палату. — Ожесточение роялистов против короля и Деказа. — Новая палата. Либералы поддерживают деспотизм, роялисты защищают свободу. — Либералы усиливаются. — Интриги роялистов. — Падение Ришелье. — Деказ торжествует над роялистами. — Вильмен и цензура. — Убийство герцога Беррийского. — Король принужден роялистами удалить Деказа. — Роялисты обещают поддерживать министерство Ришелье. — Они изменяют своему слову. — Оскорбительный адрес. — Король принужден ими отказаться от участия в управлении государством. — Торжество роялистов. — Министерство Вильелья.

(1815—1821)

С год тому назад было объявлено, что автор «Истории цивилизации во Франции» издает записки о своей политической жизни. Все с большим нетерпением ждали обещанной книги. Как бы ни думал кто из нас о государственной деятельности Гизо, каждый был уверен, что воспоминания бывшего министра представят очень много новых и важных фактов. Еще менее можно было сомневаться в том, что чрезвычайно сильный талант автора придаст изложению фактов увлекательность, его взгляду на них — обольстительность. Первый том заманчивых воспоминаний вышел — и оказался, к великому нашему изумлению, книгой сухой, написанной довольно посредственно, прибавляющей очень мало к вещам, уже давно рассказанным всеми, писавшими о том периоде, словом сказать, оказался книгой не замечательною ни в каком отношении.

На многих читателей этот отзыв произведет, вероятно, дурное впечатление, потому что он решительно не соответствует мнению почти всех европейских журналов, объявивших «Записки» Гизо произведением высокого интереса и великого достоинства. Но благоприятные суждения о новой книге Гизо основаны преимущественно на громкой славе ее автора. «Написал знаменитый человек, стало быть в сочинении находятся интерес и мудрость», — умозаключают.

чение, очень удобное для всех тех, которые не умеют или не хотят оценить книгу по ее содержанию; для них обертка — прекрасная руководительница. Другим «Записки» Гизо понравились по другой причине. Книга эта проникнута либеральными идеями и служит сильным косвенным протестом против системы Луи-Наполеона, точно так же, как последние томы «Истории консульства и империи» Тьера, как последние сочинения Дювержье де-Горанна, Токвиля, Монталамбера и проч.² Но мы признаемся, что либерализм гг. Гизо, Тьера, Токвиля и прочих имеет для нас очень мало прелести, и вся эта статья внушена желанием разъяснить причины нашего нерасположения к либерализму подобного рода. Мы судим о книге по самой книге, а не по выставленному на ней имени и не видим особенной пользы в ее тенденции; потому-то и показалась нам она скучной и довольно пустой. Очень вероятно, что следующие томы «Записок» будут гораздо любопытнее: с 1830 года Гизо был уже предводителем партии, имел сильное и самостоятельное участие в государственных делах; его воспоминания об этих временах должны быть интересными. Но в первом томе рассказ доведен только до Июльской революции, а во весь период Реставрации Гизо был далеко не первым человеком своей партии; его действия не имели особенного влияния на события, потому и его воспоминания о своей личной деятельности лишены большой исторической важности; новых фактов о других политических людях того времени он не представил; его рассказ о событиях краток и сух; таким образом с фактической стороны первая часть его «Записок» не имеет почти никакой цены; а что касается мнений, которых он держится при суждении о людях и событиях, эти мнения известны во всей подробности из бесчисленного множества книг, давно написанных другими публицистами школы «*Journal des Débats*»³ Потому-то мы и находим, что первый том «Записок» Гизо не замечателен ни в каком отношении.

Мы ошиблись: в одном отношении книга Гизо очень замечательна. Поразительна та гордая самоуверенность, с которой он, один из самых ненавистных во Франции людей, он, упрямство и грубые ошибки которого вовлекли Францию во все бедствия, испытанные ею в последние десять лет, он, погубивший династию, которой служил, погубивший систему, которую защищал, ввергнувший свою страну в междоусобия, он, истинный виновник железной диктатуры Луи-Наполеона, крестный отец всех Эспина-

сов⁴, говорит о своих действиях как будто о непогрешительных, о своих убеждениях как будто о непоколебимо разделяемых всеми разумными людьми во Франции. Он говорит так, как могли говорить разве Роберт Пиль или Штейн, как будто все соотечественники признают его спасителем отечества.

Ни одного слова в извинение своих ошибок — ошибок он не делал; ни одной фразы, в которой заметно было бы сожаление хотя о чем-нибудь, исправление хоть в чем-нибудь. Он чист и непогрешителен, он мудр и свят перед богом и людьми.

Никакая гордость своим личным умом, никакая уверенность в личной своей правоте недостаточны для сообщения человеку такого непоколебимого, самоуверенного спокойствия за всю свою жизнь, за все свои планы и действия. Нужна для этого другая опора, — Гизо непоколебим потому, что он схоластик. Напрасно ходили люди перед Зеноном, — Зенон продолжал доказывать, что движение невозможно; напрасно жестокий господин сломал ногу <рабу> философу, не признававшему бедственности физического страдания, — Эпиктет сидел с переломленной ногой, доказывая Эпафродиту, что он ошибается, воображая, будто ему, Эпиктету, мучительна боль. Ослепление часто бывает источником странного мужества.

Мы знали, что доктринеры, во главе которых стоял Гизо, были схоластики, доходившие до изумительного ослепления своими отвлеченными формулами; но только последняя книга Гизо показала нам вполне, до какой степени невозмутима никакими фактами была их теоретическая слепота и глухота. В этом смысле «*Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps*» — книга очень замечательная как психологический факт. Во всех других отношениях первый том этих мемуаров очень мало любопытен.

Но если не интересна книга, то очень интересно время, о котором она говорит, — время с 1814 до 1830 года, период Реставрации. У нас об этом времени почти ничего не было писано, и мы хотим воспользоваться книгой Гизо как предлогом сказать несколько слов о внутренней истории французского государства при восстановленной династии Бурбонов, — истории, очень мало известной у нас, а между тем заключающей в себе начало и объяснение многого, сбивающего нас с толку при суждениях о нынешней Франции. От времен Реставрации досталось в наследство нашему времени пресловутое и, по правде говоря, превздорное слово «либерализм», которое до сих пор порож-

дает столько путаницы в головах, столько глупостей в политической жизни и приносит столько бед народу, о благе которого так суетливо и так неудачно хлопотали либералы от Кадикса до Кенигсберга, от Калабрии до Нордкапа.

Впрочем, несмотря на то, что слово «либерализм» повсюду очень употребительно, его значение и в Западной Европе, а тем более у нас остается очень сбивчивым. Либералов совершенно несправедливо смешивают с радикалами и с демократами. Наша статья осталась бы темной или показалась бы нелепой тому, кто привык смешивать эти партии, чрезвычайно резко разнящиеся одна от другой. Здесь нам нет нужды много говорить ни о радикалах, ни о демократах, потому что они не играли первых ролей в эпоху Реставрации и, можно сказать, не составляли еще плотных политических партий во Франции; довольно будет упомянуть о них не более, как настолько, чтобы показать их различие от либералов и тем определить либерализм в точном смысле слова.

У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой — дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудности равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному — аристократии; либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы обыкновенно питают к демократам смертельную неприязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и гибелен для свободы.

Радикализм, собственно говоря, состоит не в приверженности к тому или другому политическому устройству, а в убеждении, что известное политическое устройство,

водворение которого кажется полезным, не согласно с коренными существующими законами, что важнейшие недостатки известного общества могут быть устранены только совершенной переделкой его оснований, а не мелочными исправлениями подробностей. Радикалом был бы в Северной Америке монархист, в Китае — приверженец европейской цивилизации, в Ост-Индии — противник каст. Из всех политических партий одна только либеральная непримирима с радикализмом, потому что он расположен производить реформы с помощью материальной силы и для реформ готов жертвовать и свободой слова, и конституционными формами. Конечно, в отчаянии либерал может становиться радикалом, но такое состояние духа в нем не естественно, оно стоит ему постоянной борьбы с самим собою, и он постоянно будет искать поводов, чтобы избежать надобности в коренных переломах общественного устройства и вести свое дело путем маленьких исправлений, при которых не нужны никакие чрезвычайные меры.

Таким образом либералы почти всегда враждебны демократам и почти никогда не бывают радикалами. Они хотят политической свободы, но так как политическая свобода почти всегда страждет при сильных переворотах в гражданском обществе, то и самую свободу, высшую цель всех своих стремлений, они желают вводить постепенно, расширять понемногу, без всяких по возможности сотрясений. Необходимым условием политической свободы кажется им свобода печатного слова и существование парламентского правления; но так как свобода слова при нынешнем состоянии западноевропейских обществ становится обыкновенно средством для демократической, страстной и радикальной пропаганды, то свободу слова они желают держать в довольно тесных границах, чтобы она не обратилась против них самих. Парламентские прения также должны принять повсюду радикально-демократический характер, если парламент будет состоять из представителей нации в обширном смысле слова, потому либералы принуждены также ограничивать участие в парламенте теми классами народа, которым довольно хорошо или даже очень хорошо жить при нынешнем устройстве западноевропейских обществ.

С теоретической стороны либерализм может казаться привлекательным для человека, избавленного счастливой судьбою от материальной нужды: свобода — вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узким,

чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением. Ни мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средства для удовлетворения этой изящной идеи; потому я откровенно говорю, что нисколько не дорожу своим правом иметь золотой сервиз и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле. Точно таковы для народа все те права, о которых хлопочут либералы. Народ невежествен, и почти во всех странах большинство его безграмотно; не имея денег, чтобы получить образование, не имея денег, чтобы дать образование своим детям, каким образом станет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество отнимают у народа всякую возможность понимать государственные дела и заниматься ими, — скажите, будет ли дорожить, может ли он пользоваться правом парламентских прений?

Нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма. Поэтому либерализм повсюду обречен на бессилие: как ни рассуждать, а сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массой народа. Из теоретической узкости либеральных понятий о свободе, как простом отсутствии запрещения, вытекает практическое слабосилие либерализма, не имеющего прочной поддержки в массе народа, не дорожающей правами, воспользоваться которыми она не может по недостатку средств.

Не переставая быть либералом, невозможно выбиться из этого узкого понятия о свободе, как о простом отсутствии юридического запрещения. Реальное понятие, в котором фактические средства к пользованию правом поставляются стихией, более важной, нежели одно отвлеченное отсутствие юридического запрещения, совершенно вне круга идей либерализма. Он хлопочет об отвлеченных правах, не заботясь о житейском благосостоянии масс, которое одно и дает возможность к реальному осуществлению права.

Нам кажется, что этих кратких замечаний будет пока достаточно для предварительного объяснения читателю, в каком смысле мы употребляем слово «либерализм».

Само собою разумеется, что теоретическая несостоятельность либерализма чувствуется только теми, кому, кроме юридического разрешения, нужны еще и материальные средства. А у кого эти средства уже есть, тому, разумеется, и не приходит в голову хлопотать о них. Оттого либерализм очень долго был системой, совершенно удовлетворявшей людей с независимыми материальными средствами к жизни и с развитыми умственными потребностями. «Сытый голодного не разумеет», и они никак не могли теоретическим путем дойти до соображения, что потребности народа могут состоять в чем-нибудь ином, нежели либеральные тенденции. Они воображали, что являются истинными благодетелями народа, стараясь доставить ему свободу слова и парламентское правительство. Горький опыт начал разочаровывать либералов. Практические неудачи мало-помалу раскрывают благоразумнейшим из них глаза на теоретические недостатки их системы, и с каждым годом число истинных либералов в Европе уменьшается. Но заблуждения партий долговечны; да и как не быть им долговечными? Если отдельному человеку для приобретения здравых понятий о жизни посредством опыта нужны целые годы, конечно десятки лет нужны для этого собранию множества людей, взаимно поддерживающих один другого в общих заблуждениях. Потому во Франции, как и во всех других странах Западной Европы, продолжают еще существовать и хлопотать либералы, и нельзя сказать, чтобы Франция или вообще Западная Европа была уже вне опасности от их хлопот; да и сами они, к сожалению, все еще не достигли того благоразумия, чтобы избавить себя от бедствий и гонений, совершенно передав заботу о народах другим людям. Нет, они все еще готовы «жертвовать собою для блага свободы».

Нет ничего грустнее, как видеть честных, любящих вас людей, которые лезут из кожи вон от усердия осчастливить вас тем, чего вам решительно не нужно, которые с опасностью жизни взбираются на Монблан, чтобы принести оттуда для вашего наслаждения альпийскую розу — бедняжки! Сколько истрачено денег, времени и сколько честных шей сломано в этом заоблачном путешествии для вашего удовольствия! И не приходило в голову этим людям, что не альпийская роза, а кусок хлеба нужен вам, потому что голодному не до цветков природы или красноречия,

и дивились они и осыпали вас упреками в неблагодарности к ним, в равнодушии к вашему собственному счастью за то, что вы холодно смотрели на их подвиги и не лезли за ними через скалы и пропасти и не поддерживали их, когда они с своей заоблачной вышины падали в бездну. Жалкие слепцы, они не сообразили, что достать для вас кусок хлеба было бы им гораздо легче, не сообразили потому, что и не предполагали, будто кому-нибудь может быть нужна такая прозаическая вещь, как кусок хлеба.

Жаль их потому, что почти все они сломали себе шею, почти без всякой пользы для наций, о которых хлопотали. Еще больше жаль того, что нации не всегда оставались холодны к их стремлениям, иногда обольщались красноречием и смелостью этих «передовых людей», шли вслед за ними и вслед за ними падали в пропасти.

Таково наше понятие о либерализме вообще, но в каждой стране, в каждую эпоху общая идея принимает особенный характер. Французский либерализм в эпоху Реставрации, самое блистательное и шумное явление в истории либерализма, отличался особенностями, которые раскроются в продолжение нашего рассказа. На первый раз мы предупредим читателя, что если борьба либералов с роялистами составляет сущность французской политической истории в то время, это еще вовсе не значит, чтобы в самом деле либералы были тогда постоянно защитниками хотя той жалкой свободы, которая признается идеей либерализма. Нет, далеко не всегда это было; критика фактов приводит даже к заключению, нимало не согласному с теми ожиданиями, какие можно составить, основываясь на названиях боровшихся партий. Дела в это время перепутались очень странно и перепутались именно вследствие того, что имена партий плохо соответствовали их стремлениям. Несоответственность между именем и сущностью привела за собою ненужные союзы, неосновательные симпатии и антипатии. Результатом этого было, что Бурбоны без всякой надобности подвергли себя изгнанию из-за кровительства людям, которые вовсе не были их приверженцами, нация подвергла себя множеству бедствий из-за увлечения людьми, которые вовсе не были защитниками ее прав, и династия, наделав много вреда нации, окончательно оттолкнула ее от себя без всякой надобности. (Мы стараемся объяснить, что такое был либерализм, прозвонивший все уши Европе в эпоху Реставрации, и если нам удастся разоблачить это обманчивое понятие, обнаружит его совершенную пустоту, показать, что между так назы-

ваемыми либералами было с самого начала так же мало здравых понятий о свободе, как и между так называемыми роялистами), что так называемые роялисты так же усердно добивались так называемой свободы, как и либералы, если нам удастся показать, что во Франции при Бурбонах борьба между партиями, шедшая на словах будто бы между свободой и королевским полновластием, в сущности велась не за свободу одними, не за короля другими, если мы покажем, что свобода оставалась тут во всяком случае ровно ни при чем, какая бы из двух партий ни победила, а королевская династия возбуждала против себя так называемых либералов только потому, что не умела понять, какого <безграничного> полновластия могла бы достичь, если бы покровительствовала самым крайним либералам или даже пошла бы дальше их,— если нам удастся показать все это, мы думаем, что читатель найдет некоторую назидательность в смешном и грустном ходе событий, общий очерк которого мы хотим изложить. А события были действительно смешны и грустны.

Громом оружия началось, громом оружия кончилось правление Бурбонов. Шестнадцать лет, прошедшие от громовых дней Монмартра и Ватерлооской битвы до трескучих июльских дней⁵, исполнены были отважного движения, речей, восторженных криков, перерываемых только резким стуком барабанов и треском ружейных выстрелов; в чем же смысл и сущность политической истории этих шестнадцати лет? Либералы совершенно ошибались, воображая себя защитниками свободы; роялисты совершенно ошибались, воображая себя защитниками престола; Бурбоны совершенно ошибались, думая, что должны опираться на роялистов; народ совершенно ошибался, воображая, что должен ожидать себе спасения от либералов,— из этой четверной ошибки выходила невообразимо бестолковая путаница. Бурбоны отталкивали себя от либералов, которые одни могли поддержать их, и дружились с роялистами, которые губили их; народ, привязываясь к звонким, но пустым речам либералов, забывал сам заботиться о своих интересах и, не получая никакой выгоды для себя, терпел похмелье на пиру совершенно чужом; либералы при Бурбонах оставались бессильными, потому, что не умели взяться за дело, а при Луи-Филиппе, когда получили силу, осрамили себя, оказавшись худшими друзьями свободы, нежели сами роялисты; наконец роялисты, смешав народ с либералами и думая, что подавить либералов — значит уже не иметь врагов, сами себе рыли могилу,

потому что не соображали, какое действие на народ производят их эволюции в борьбе с либералами. Здравого смысла тут, как видим, очень мало; сущность всей этой путаницы, если разобрать дело хладнокровно, чуть ли не выражена заглавием одной из пьес Шекспира «Комедия ошибок».

Такое неделикатное понятие об истории Франции в 1814—1830 годах вовсе не сообразно с теми высокими теориями, под которые обыкновенно подводится история. «Потребности народа, сила истины — вот основные силы, которыми движется ход событий; прогресс — не пустое слово. Называть путаницей какой-нибудь значительный отдел истории может только тот, кто не доучился и не додумался до глубокого взгляда на историю», — скажут нам люди, успокоительности взгляда которых мы завидуем, не будучи в состоянии достичь высоты таких приятных мирозерцаний. Нам представляется, что на ход исторических событий гораздо сильнее влияние имели отрицательные качества человека, нежели положительные; что в истории гораздо сильнее были всегда рутина, апатия, невежество, недоразумение, ошибка, ослепление, дурные страсти, нежели здравые понятия о вещах, знание и стремление к истинным благам; что всегда грошовый результат достигался не иначе, как растратою миллионов; что путь, по которому несется колесница истории, чрезвычайно извилист и испещрен рытвинами, косягами и болотами, так что тысячи напрасных толчков перетерпит седок этой колесницы, человек, и сотни верст исколесит всегда для того, чтобы подвинуться на одну сажень ближе к прямой цели. Кто не согласен с нами, великодушно извинит такое наше заблуждение. Но мы — общая участь людей — воображаем, что фактами подтверждается именно наш, а не какой-нибудь другой взгляд.

Кто верит разным либеральным и прогрессивным историям, в которых так превосходно излагается «неукоснительное развитие» рода человеческого и осуществление великих идей, руководящих чуть ли не каждым движением каждого из бесчисленных более или менее великих людей вроде Гизо, Тьера, Талейрана, Меттерниха и пр., кто верит этим историям, тот, конечно, не согласится с нами: он очень твердо знает, что главный смысл шумной борьбы французских партий в 1815—1830 годах был: восторжествует ли во Франции конституционное устройство или королевская власть возвратит себе безграничную силу, какую имела до конца XVIII века. По мнению либераль-

ных историков, борьба шла между свободой и престолом (Франция разделялась на два лагеря, роялистов и либералов), и — все по мнению тех же проникательных людей — либералы и во сне и наяву только то будто бы и видели, как бы им обессилить королевскую власть до крайней степени, а роялисты будто бы всей душой и всем сердцем преданы были королям своим, сначала Людовику XVIII, а по смерти его Карлу X. Совершенно так же понимают дело и реакционеры от де-Местра до Монталамбера. Удивительная проникательность, тем более удивительная, что каждый факт противоречит ее выводам, основанным на одних именах и праздных словах, опровергавшихся самым делом. Действительно, из двух партий, шумно боровшихся во Франции с 1814 до 1830 года, одна называла себя либеральной, а другая роялистской, одна написала на своих знаменах «свобода», а другая — «престол». Но нужна проникательность совершенно особенного рода, чтобы верить этим именам и официальным прозвищам, — проникательность, которая должна предположить также, что гвельфы⁶ были в самом деле не люди, а щенки, как доказывается их именем, а тори в самом деле занимаются тем, что жгут английские деревни, как доказывается опять-таки их именем. Надобно также по этому способу суждения предполагать, что Наполеон, когда двинулся в 1812 году в Россию, начал войну не наступательную, а оборонительную, — он сам так говорил; а когда Нена-Саиб резал англичан в Ханпуре, то делал это, несмотря на свою мухаммеданскую веру, единственно по усердию к Бrame, Вишну и Шиве, — он сам это говорил.

Изумительна податливость людей обманываться официальными словами. Еще изумительнее то, что словам, в которых нет ни капли искренности, верит вполне не только тот, для оболыщения которого они придуманы, но часто и сам тот человек, кто их придумал с целью придать возвышенность и благовидность своим личным расчетам. Так случилось между прочим и во Франции при Бурбонах. Либералы от всей души воображали, что ратуют за свободу, роялисты не менее искренно были убеждены, что ратуют за престол. Но этими словами «свобода» и «престол» нимало не выражались их действительные стремления, и действия их вовсе не соответствовали тостам, которые они пили.

Нужно только вникнуть, из каких людей состояла та или другая партия, чтобы отказаться от доверчивости к ее официальному имени.

Начнем с роялистов. Основу этой партии составляли эмигранты, возвратившиеся во Францию вместе с Бурбонами вслед за победоносными союзными армиями. Нечего говорить о том, что если бы любовь к королю была в них сильнее личных расчетов, не покинули бы они Людовика XVI при начале революции; можно было бы извинить их бегство трусостью, не прибегая к сомнениям в их расположении к монарху, если бы не знали мы, что делали они за границей. Когда разгорелись в Париже народные страсти, эмигранты прямо говорили, что для блага Франции надо желать смерти Людовика XVI, который не умеет управлять государством сообразно с пользами аристократии; их тайные агенты возбуждали парижских санкюлотов требовать казни Людовика XVI. Когда было получено известие о его смерти, они с торжеством говорили, что смерть была ему справедливым наказанием за то, что он согласился на уничтожение феодальных прав и на преобразование (гражданских прав) католического духовенства. Малолетний сын Людовика XVI, наследник престола, содержался в плену в Париже, надобно было управлять делами роялистов регенту; по неприкосновенному закону старинной монархии, регентом следовало быть старшему из дядей малолетнего короля; но граф Прованский (впоследствии Людовик XVIII) не нравился эмигрантам, и они упорно требовали, чтобы он уступил власть младшему брату, графу д'Артуа (впоследствии Карлу X). Несколько месяцев продолжалась борьба и, несмотря на сопротивление иностранных дворов, признавших права графа Прованского, эмигранты вытребовали у него титул наместника королевства (*lieutenant général du Royaume*) для своего любимца. Потом при каждом случае недовольства представителем королевской власти они дерзко ссорились с ним, постоянно признавая своим истинным главою не его, а графа д'Артуа. В таком положении оставались они к Людовику XVIII и по возвращении Бурбонов во Францию: постоянно выражая ему свое неудовольствие, они громко говорили, что повинуются не королю, а графу д'Артуа, и постоянно интриговали против всех тех, кого Людовик XVIII удостоивал своим доверием. Хороши монархисты, которые желали насильственной смерти одного короля и не хотели повиноваться другому.

Либералы так же были преданы свободе, как роялисты преданы королю. Либеральная партия состояла около 1815 года из слияния трех главных оттенков: из людей, служивших Наполеону, но не желавших его возвращения,

из настоящих бонапартистов и из приверженцев английской конституции (либералов в точнейшем смысле слова). Едва ли нужно говорить, до какой степени могли быть пылки конституционные желания людей, служивших Наполеону; еще менее могли умирать тоскою о свободе записные бонапартисты: система Наполеона, как известно, мало походила на конституционное правление. Остаются либералы в тесном смысле слова, — те самые люди, которые позднее составили партию орлеанистов. Мы будем иметь случай видеть, как они защищали свободу, когда самовластие казалось для них выгодно. Но в полном блеске их уважение к свободе выразилось после 1830 года, когда они имели власть в своих руках. Самые горячие роялисты 1820 годов не заходили так далеко, как Тьер, Гизо и вся их партия в 1832 и 1835 годах.

Было, правда, в либеральной партии несколько человек, действительно горячившихся из-за свободы, как сами ее понимали, например Лафайет, Войе д'Аржансон, Манюэль; но <во-первых> они по своей малочисленности не имели никакого влияния на ход парламентских прений во время Реставрации <во-вторых, были такие люди и между роялистами, например, Шатобриан>. Были и между роялистами люди, действительно преданные королевской династии, например герцог Ришелье; но опять-таки, во-первых, они не имели влияния на свою партию; во-вторых, между либералами было таких людей гораздо больше, — перечислять их всех от Ройе-Коляра до Гизо было бы слишком долго.

В чем же заключались действительные стремления партий, из которых одна выдавала себя защитницей монархической власти, другая — свободы? Они заботились об интересах, гораздо более близких им, нежели престол или свобода. Люди, называвшиеся роялистами, просто хотели восстановить привилегии, которыми до революции пользовались дворянство и высшее духовенство; потому что сами эти люди были из высшего дворянства. Либеральную партию составляли люди среднего сословия: купцы, богатые промышленники, нотариусы, покупщики больших участков конфискованных имений, — словом, тот самый класс, который позднее сделался известен под именем буржуазии; революция, низвергнув аристократические привилегии, оставила власть над обществом в его руках; он хотел сохранить власть.

В той и другой партии этим задушевым стремлениям были подчинены все другие отношения, между прочим

и отношения к королевской власти. Стоило королю показывать расположение к среднему сословию, — роялисты начинали проклинать короля, кричать против деспотизма, а либералы рукоплескали самым насильственным распоряжениям королевской власти и рвали в клочки конституцию; разумеется, когда, наоборот, король поддерживал феодальные стремления аристократов, роялисты начинали кричать о неприкосновенности и неограниченности королевской власти, а либералы говорили, что умрут, защищая конституцию.

Разбор действий той и другой партий в 1815—1830 годах на каждом шагу приводит к такому заключению.

Мы не хотели писать полного обзора всех сторон исторического движения за эти годы; развитие науки, литературы, экономические отношения, судебные дела, дипломатические сношения, военные события не входят в наш рассказ, потому что иначе слишком расширился бы его объем: все внимание наше будет обращено исключительно на факты, объясняющие характер политических партий, существовавших тогда во Франции, и сущность внутренней политической истории государства. С той же целью, чтобы не увеличивать до чрезмерности объем этого очерка, мы начинаем его с вторичного возвращения Бурбонов во Францию после Ватерлооской битвы, или второй реставрации, не говоря ни о кратковременном периоде первой реставрации, окончившейся возвращением Наполеона с Эльбы, ни о кратковременном господстве Наполеона во время Ста дней. Обе эти эпохи были только прелюдиями к длинной драме собственно так называемого периода Реставрации, начинающегося после Ватерлоо.

После Ватерлооского сражения Веллингтон был владыкой Парижа; судьба Франции зависела от милости союзных монархов. Союзники требовали от Бурбонов благоразумия и снисходительности к людям, замешанным в события, следовавшие за возвращением Наполеона с Эльбы. Веллингтон громко объявил, что не допустит Людовика XVIII снова принять власть иначе, как если он будет управлять по советам Фуше и сделает его министром: по мнению Веллингтона, только Фуше мог предохранить Бурбонов от нового изгнания. Но события доставили перевес во Франции роялистам. Либералы, пораженные вместе с Наполеоном, которого поддерживали во время Ста дней, почти без борьбы дали восторжествовать роялистам на выборах в палату депутатов. Посмотрим же, как доказали роялисты свою приверженность к монархической власти.

Один слух о ненависти избранных в палату роялистов к Фуше заставил короля отказаться от помощи министра, пользовавшегося доверием Веллингтона и служившего представителем примирения Бурбонов с новой Францией. Роялисты ненавидели Фуше не за те гнусные жестокости, которыми он опозорил себя во время терроризма, — они покровительствовали людям, не менее запятнавшим себя в этом отношении, например, генералу Канюэлю, который так свирепствовал против вандейцев, что был удален от должности комиссарами Конвента и не был потом употребляем ни на какие поручения Наполеоном. Коварство Фуше также не было причиной вражды роялистов к нему; они поддерживали многих людей, не превосходивших Фуше честностью. Но этот министр доказывал Людовику XVIII, что Бурбоны не должны быть слепыми орудиями эмигрантов, что требования крайних реакционеров противны интересам короля; роялисты хотели казнить или сослать более трех тысяч человек; Фуше доказал королю, что такая масса жертв возбудит общее негодование, и настоял на том, чтобы не более пятидесяти семи лиц были преданы суду, говоря, что и это число уже слишком велико. Такого сопротивления гибельному для самих Бурбонов мщению не могли простить эмигранты, и Фуше принужден был против воли короля удалиться из министерства.

Тогда главой министерства сделался герцог Ришелье, памятный у нас заботами об Одессе и лично пользовавшийся особенным благоволением императора Александра⁷. По своим мнениям герцог был ревностный монархист; казалось бы, что роялисты должны доверять ему. По своим отношениям к императору Александру, от которого зависели тогда решения европейских держав о судьбе Франции, он был человеком незаменимым. Если бы роялисты желали избавить народ от унижительных неприятностей в сношениях с Европой, они должны были бы поддерживать Ришелье.

Еще до начала заседаний палаты депутатов роялисты, составлявшие в ней огромное большинство, вынудили у короля отставку министра, услуги которого были чрезвычайно полезны для Бурбонов. Но этот министр служил республике и Наполеону: быть может, роялисты станут соблюдать более умеренности, выкажут себя хорошими подданными теперь, когда король вручил правление новому министру, который преданностью монархическому началу не уступит никому в целой Франции.

На словах палата депутатов пылала усердием к королю. В ней только и речи было, что о короле и безграничной преданности ему; с неистовым восторгом приняла она слова Воблана: «Огромное большинство палаты хочет верно служить королю». Но палате было известно, что король не может быть слишком строг относительно людей, поддерживавших Наполеона; что строгость повредит прочности его престола и может поссорить его с императором Александром и Англией. Роялисты не хотели обращать на то внимания, и как только собралась палата, первым делом ее было представить королю адрес, требовавший мщения. «Мы обязаны, государь,— говорила палата,— требовать у вас правосудия против тех, которые подвергли опасности престол. Пусть они, донныне гордящиеся своей изменой и ободряемые безнаказанностью, будут преданы строгости судов. Палата ревностно будет содействовать составлению законов, необходимых для исполнения этого желания». Правительство, повинувшись требованию, через несколько дней представило проект закона о возмутительных криках, речах и сочинениях; по проекту эти нарушения порядка объявлялись проступками и наказывались тюремным заключением от трех месяцев до пяти лет, лишением гражданских и политических прав и отдачей под надзор тайной полиции. Палата вознегодовала. «Как могло правительство предложить нам такой проект? — говорили роялисты. — Оно называет проступками то, что должно называть преступлениями; наказания назначены слишком легкие, представлять такой проект палате, составленной из роялистов, это — чистая измена». Комиссия палаты, рассматривавшая проект, совершенно переделала его и усилила все наказания. «Наказания должны быть соразмерны преступлениям,— говорил в своем рапорте палате Пакье, докладчик комиссии,— нужно, чтобы быстрота наказания внушала спасительный ужас людям, которые хотели бы подражать преступникам. Все друзья порядка и тишины желают восстановления превотальных судов*. До той поры пусть люди, подлежащие этому закону, судятся уголовным судом; но наказания, назначенные в проекте, слишком легки для них. Мы думаем, что они должны наказываться или изгнанием, <или каторгою,> или ссылкой. Но простое изгнание — наказание ничтожное для них. Их

* Старинные суды, действовавшие по особенным инструкциям, не стесняясь ни законами, ни формами судопроизводства, казнившие людей без дальних околичностей полицейским порядком.

должно осуждать на ссылку. Справедливость требует, чтобы они были навеки удаляемы из той земли, на которой недостойны они жить, и посылались влечь под далеким небом жизнь, которую употребили на бедствия отечества и стыд соотечественникам. Сверх того, они должны подвергаться строгому денежному штрафу, наказанию для этих людей более чувствительному, нежели тюрьма, которая показалась бы для них, не знающих стыда, только средством жить в праздности». Другой роялист де-Семезон требовал, чтобы место ссылки было назначено непременно за пределами Европы и чтобы в некоторых случаях, например за поднятие трехцветного знамени⁸, назначалась вместо ссылки смертная казнь. «Согласен на закон,— шутливым тоном сказал третий роялист Пье,— только с небольшой переменной, именно, чтобы вместо ссылки поставлена была смертная казнь,— перемена, как видите, пустая». Палата весело захохотала остроте. Один из депутатов отважился было сказать: «Положим смертную казнь за поднятие трехцветного знамени вследствие обдуманного заговора, но неужели казнить человека, который сделал бы это просто под пьяную руку?» Громкий ропот прервал его. Все ораторы, говорившие потом, обвиняли не только министерский проект, но и предложение комиссии в излишней слабости. Правительство уступило требованиям палаты и согласилось на изменения, сделанные комиссией.

С этой минуты палата решительно берет в свои руки верховную власть. Она не доверяет министрам короля, переделывает все их законы. Министры ничтожны перед ней; король должен покоряться ей беспрекословно. Со времен Конвента не было законодательного собрания, которое недоверчивее смотрело бы на исполнительную власть и щеотливее выставляло бы при всяком случае свои права. Роялисты вынудили у министерства отменения гарантий, ограждавших личность гражданина от полицейского произвола, вынудили множество других крутых мер, и, наконец, один из них, Лабурдонне, под ироническим именем амнистии предложил закон, страшным образом расширявший разряды лиц, подвергавшихся ответственности за участие в событиях Ста дней. Это предложение было сделано в тайном комитете палаты, поручено рассмотрению тайной комиссии, которая не хотела открывать предмета совещаний самому правительству. Амнистия Лабурдонне подвергала смертной казни или ссылке около тысячи двухсот человек. Члены комиссии хотели еще увеличить это число. Ужас овладел Парижем, до которого

доносились слухи о намерениях палаты. Правительство, испуганное путем, на который ведет его палата, решилось предупредить ее, чтобы не навлечь на династию Бурбонов непримиримой ненависти нации. Весь кабинет торжественно явился в палату с проектом закона, составленным в духе гораздо более кротком. Палата передала проект министерства на рассмотрение прежней комиссии, негодуя на преступную снисходительность правительства. Комиссия переделала проект в духе Лабурдонне. «Не слушайте софизмов гибельной филантропии, служащей орудием обмана в устах ваших врагов,— говорил роялист Бодрю, когда начались прения в палате после прочтения доклада комиссии: — наказывайте, не колеблясь, иначе ошибетесь; предложение комиссии выше всяких возражений». — «Провидение предает, наконец, в ваши руки злодеев,— вскричал Лабурдонне,— вечное правосудие сберегло их среди опасностей именно для того, чтобы непреложно показать суетность их коварства. Они говорят, что они прощены королем при его возвращении; нет, это прощение, подобно печати отвержения, положенной на челе первого братоубийцы, хотело сохранить их от человеческого суда для предоставления вечному мщению; но мучение Каина нечувствительно для их ожесточенных сердец; вы, малодушные, непредусмотрительные законодатели, вы видите ковы этих людей, ставших позором нации, и не накажете их! Нет, эта палата, цвет нации, надежда всех истинных французов, сумеет предупредить новые преступления своей энергией». По окончании прений докладчик комиссии Корбьер объявил, что комиссия не может сделать никакой уступки министрам. Министры решились прибегнуть к последнему средству. Герцог Ришелье, бывший тогда первым министром, встал, попросил президента палаты прекратить на время заседание и вышел из залы в сопровождении своих товарищей. Через час, возвратившись на трибуну, он объявил палате, что имел совещание с королем, которому изложил ход прений, и теперь должен сообщить палате желание короля. Он соглашается на некоторые изменения, предлагаемые комиссией, но самым безусловным образом отвергает те многочисленные исключения из амнистии, которых требует комиссия. «Да будет мне позволено заклинать вас не делать закона милости причиною раздора,— заключил Ришелье свою речь.— После потопа бедствий, наводнявших нашу несчастную Францию, пусть закон об амнистии явится на

нашем политическом горизонте как символ примирения и спасения для всех французов».

Министры прибегали к чрезвычайному способу укротить безрассудную мстительность роялистов. Во время прений указывать на прямую волю короля противно обычаям парламентской системы. Но министры извинялись отчаянностью своего положения: роялисты принуждали правительство к таким несвоевременным мерам, которые за несколько месяцев пред тем были причиной изгнания Бурбонов и неминуемо должны были вновь привести их к падению. Роялисты могли бы негодовать на министров, упросивших короля вмешаться в прения; но если они действительно были верными подданными короля, им оставалось теперь только покориться его воле. Они и не думали о том. «Конечно, господа, — сказал Бетизи, — нам очень грустно становиться в противоречие с желаниями короля; мы дали ему столько доказательств верности, преданности и любви, двадцать пять лет нашим лозунгом было восклицание: жить для короля, умереть за короля! Но, господа, не забудем девиза наших отцов: бог, честь и король; и если непреклонная честь обязывает нас на время воспротивиться воле короля; если, недовольный сопротивлением своих верных слуг своему королевскому милосердию, он отвращает на время от нас свой милостивый взгляд, мы скажем: ура, король, и против его воли! *Vive le roi, quand même!*» Министры не нашли, что возразить ему, и проект закона, противный воле короля, был почти единодушно принят палатой среди громких рукоплесканий. Из 366 членов только 32 депутата либеральной партии подали голос за министерство и короля.

Точно таково же было отношение палаты к министрам и королю по всем другим вопросам; в каждом заседании роялисты представляли своими решениями новые подтверждения тому, что не хотят обращать никакого внимания на интересы царствующей династии, на волю короля, на права королевской власти и что под официальными фразами их о преданности престолу скрывается непреклонная решимость управлять Францией исключительно в интересах эмигрировавшей аристократии и постоянно вынуждать у короля беспрекословное повиновение ей. Не перечисляя всех законов и распоряжений, выражавших коренное разногласие между королем и роялистами, мы упомянем еще только об избирательном законе, от которого должен был зависеть характер власти, управлявшей Францией. Министры представили проект,

по которому королю давалось право причислять к сословию избирателей некоторое количество лиц, не имевших значительной недвижимой собственности, принимавшейся первым условием при составлении списков избирателей. По этому проекту выбор депутата производился прямо всеми избирателями округа. Комиссия палаты, отвергая проект министерства, составила другой закон, по которому совершенно устранялось влияние правительства при составлении списков, и избиратели каждого округа выбирали не прямо депутата, а только вторых избирателей из числа значительных землевладельцев департамента. Эти вторые избиратели, собираясь по департаментам, выбирали депутатов; таким образом по проекту комиссии выборы в палату депутатов отдавались совершенно в руки аристократии, становившейся вполне независимой от короля. Проект министерства был составлен в видах усиления королевской власти; вся либеральная партия палаты единодушно поддерживала его. Проект комиссии, назначенной роялистским большинством палаты, заменял монархическое устройство Франции аристократической республикой; королю оставалось при таком избирательном законе меньше власти, нежели имел венецианский дож; олигархия аристократического парламента становилась на место престола. Все роялисты подали голос за проект, уничтожавший монархическую власть.

Очевидно было, что или должен отказаться от всякого влияния на государственные дела король, стать слугою палаты депутатов, или должна быть распущена эта палата, столь громко вопиявшая о своем роялизме и столь непреклонно восстававшая против короля. Людовик XVIII видел необходимость распустить палату, и 29 апреля 1816 года заседания палаты были отсрочены, а 5 сентября явилось королевское повеление, объявлявшее, что палата распускается, и предписывавшее произвести новые выборы.

Семь месяцев продолжались заседания роялистской палаты. Пока она еще не начинала своих действий, трудно было не обмануться пышными речами ее членов, изъяслявших безграничную приверженность к престолу, и Людовик XVIII при начале ее заседаний в порыве радости от роялистского состава палаты назвал ее беспримерной палатой (*chambre introuvable*). Это имя оставила за ней история, но в смысле совершенно противном тому, с каким вначале было произнесено оно. Палата 1815 года была действительно беспримерна по вражде против всего того,

на чем должно было утверждаться правительство Бурбонов. Роялисты с первого же раза ограничили монархическую власть так, как ограничил ее Долгий парламент в Англии. Они так же мало доверяли королю, так же упорно противились ему, как республиканцы революционных собраний.

Зато либералы всеми силами старались поддержать министерство, подвергавшееся постоянным оскорблениям и поражениям от роялистов. Обе партии действовали в духе, совершенно противном своим формальным прозвищам. Либералы подавали голос за короля, роялисты — против короля.

Но все, что мы видели до сих пор, было бледно и слабо в сравнении с бурными движениями, возбужденными королевским повелением 5 сентября.

Если бы надобно было смотреть на это повеление как на фазис борьбы между властью короля и парламентским правлением, то, без сомнения, защитники парламентского правления огорчились бы таким проявлением королевского произвола, как распускание палаты за несогласие с мнениями королевских советников. Но они пришли в восторг. Либералы приветствовали повеление, распускавшее палату, как бессмертное благодеяние; они забывали все преследования, которым подвергались от министра полиции Деказа, энергического любимца короля: Деказ склонил короля и своих товарищей распустить палату, и либералы провозглашали его спасителем Франции. «Я не буду теперь жаловаться,— писал Деказу один из генералов либеральной партии, шесть месяцев уже содержащийся в тюрьме по капризу министра,— я согласен платить годом свободы за каждое повеление, подобное изданному вами».

Если бы роялисты были приверженцы монархической власти, они радовались бы блистательному доказательству силы короля, выразившемуся распусканием палаты. Напротив, они были раздражены до последней степени. Их представитель в королевской фамилии, граф д'Артуа, называл Деказа изменником. Несмотря на все цензурные строгости Вильмена, бывшего потом при Гизо министром народного просвещения, а теперь управлявшего цензурой, журналистика роялистской партии осыпала проклятиями ненавистное повеление. Шатобриан, замечательнейший представитель роялистов в журналистике, писал: «Какие побуждения склонили министров воспользоваться правом короля распускать палату? Партия, влекущая Францию

к гибели, боялась, что палата раскроет королю истинные желания Франции. Но пусть не теряют мужества добрые французы, пусть они толпой идут на выборы, но пусть не доверяют они обману: им будут говорить о короле, о воле короля. Не поддавайтесь этой уловке: спасите короля против его воли — *sauvez le roi quand même*».

Все люди, защищавшие гражданское равенство французов перед законом, противившиеся восстановлению старинных привилегий и феодальных несправедливостей, назывались в то время у правительства революционерами; все, принимавшие какое-нибудь участие в событиях революции, были казнены, изгнаны или заключены в темницу. Однакоже роялисты говорили, что король подпал влиянию революционеров, заставивших его мстить роялистам за изгнание членов Конвента, которых тогда называли царубийцами, и Шатобриан восклицал: «Бонапарте имел на службе революционеров, презирая их, ныне хотят иметь их на службе в почете. Могли ли ожидать роялисты, что такие люди будут слугами законных королей? Якобинцы, испуская крик радости во всеуслышание своим братьям в остальной Европе, вышли из своих берлог, явились на выборы, сами изумляясь тому, что их призывают на выборы, что их ласкают как истинных опор престола».

Таким образом герцог Ришелье, эмигрант и друг русского императора, становился якобинцем и революционером; якобинцем становился Деказ, расстрелявший и казнивший в угодность роялистам сотни людей от Нея и Лабедойера до самых безвестных простолюдинов. Сам Людовик XVIII не избежал этого обвинения: «Он смолоду имел склонность к якобинству; он либеральничал еще в 1788 году при собрании нотаблей, предшествовавшем конституционному собранию», — говорили роялисты.

Ярость их была очень натуральна: новый закон о выборах, отдававший власть в их руки, был отвергнут палатой пэров, потому что вышел из палаты депутатов в редакции никуда негодной в чисто техническом отношении. Составить другого закона палата депутатов еще не успела, когда была распущена, и выборы должны были производиться по правилам, существовавшим прежде. Правила эти были чрезвычайно односторонни, совершенно исключая от участия в выборах не только простолюдинов, но и большую часть среднего сословия. Тем не менее они не отдавали всей силы исключительно в руки аристократов; общественное мнение имело при них некоторое, хотя и слабое, влияние на результат выборов. Роялисты раз-

дражили своей мстительностью всю Францию, встревожили каждое семейство намеками на конфискацию всех имуществ, приобретенных во время республики и империи, и не могли теперь ожидать того успеха на выборах, какой имели в 1815 году. Действительно, около половины роялистских депутатов прежней палаты потерпели неудачу. В палате 1815 года они имели огромное большинство; в новой палате из 259 членов роялистов было около 100. Теперь они надолго должны были отказаться от надежд восстановить феодальное устройство, о котором мечтали. Король отнял у них эту возможность, чтобы самому не лишиться престола; зато король был для них ненавистен, и они стали нападать на королевскую власть с яростью, которой могли бы позавидовать санкюлоты 1792 года⁹.

При проверке выборов в одном из первых заседаний новой палаты Вильгель, один из предводителей роялистов, явился уже горячим защитником свободы против вмешательства административных властей в выборы. Издатель одного роялистского журнала Робер был арестован, и журнал его запрещен; в предыдущие месяцы, когда господствовали роялисты, запрещение либеральных журналов было делом ежедневным, и чуть ли не в каждой тюрьме королевства сидели журналисты, арестованные без суда роялистами. Но когда власть обратилась против роялистов, они подняли крик о ненарушимых правах свободы, и тот самый Пье, который с милой шутливостью требовал смертной казни за словесные и печатные проступки, теперь явился истинным Мильтоном, провозвестником свободы слова: «В деле Робера, — говорил он, — я вижу нечто более, чем незаконный арест и произвольное запрещение журнала; я вижу в нем восстановление пытки».

Зато либералы, еще недавно кричавшие о свободе, теперь единодушно подавали голоса в оправдание всех произвольных действий министерства: постоянным большинством 160 голосов были отвергаемы все жалобы новых защитников свободы, было оправдано вмешательство министров при выборах и арест Робера и запрещение его журнала. Либералы поддерживали всю систему Деказа, систему цензуры и противных конституции законов. Вильмен противозаконно стеснял роялистскую журналистику и запрещал роялистские журналы. Знаменитый друг свободы мышления и по тогдашнему мнению либералов великий философ Ройе-Коляр говорил в ответ роялистам: «Нельзя отрицать того, что, где есть партии, там журналы перестают быть органами личных мнений

и, предаваясь интересам партий, становятся орудием их политики, театром их битв, и свобода журналов обращается только в свободу необузданных партий».

Правительство не могло не отблагодарить либералов за такую безграничную приверженность и представило палате новый закон о выборах, по которому избирателем был каждый гражданин, платящий 300 франков прямых податей, то есть каждый зажиточный человек, без различия в том, движимая или недвижимая собственность составляет его имущество. Число избирателей вследствие этого закона возрастало до 90 000 человек, из которых огромное большинство принадлежало к среднему сословию, враждебному феодальным правам. Не нужно и говорить о том, что роялисты, решительно убиваемые этим проектом, восстали против него; но замечательно то, что они, недовольные проектом за уничтожение привилегии больших землевладельцев-аристократов над купцами и землевладельцами среднего сословия, вдруг обратились в защитников демократии и упрекали новый закон за его аристократизм: «Вы хотите повергнуть всю нацию перед золотым тельцом, — восклицал Лабурдонне, предводитель роялистов, — вы хотите поработить нацию самой жестокой, самой наглой аристократии. Неужели пролито столько крови, принесено столько жертв только для того, чтобы притти к такому результату, постепенно уничтожить все провозглашенные вами права и отдать под иго политического рабства нацию, восставшую с песнями свободы? А ты, французский народ, слишком легковверно служивший орудием для всех честолюбцев, узнай по крайней мере теперь, кто твои враги, кто твои друзья!» Защита свободы должна быть всегдашнею обязанностью демократов, и другой роялист, Корне д'Энкур, прибавлял: «Произвольными законами заменены постановления конституции, потом и эти законы заменены простыми повелениями короля, потом и королевские повеления заменены инструкциями от министров, и эти инструкции толкуются в свою очередь по произволу префектами. Министр полиции стал великим избирателем королевства. У нас нет ни закона об ответственности министров, ни личной свободы, ни свободы печати, ни свободы выборов. Проект настоящего закона не ограждает ни свободы выборов, ни независимости палаты; я его отвергаю».

Но роялисты, сделавшиеся страстными защитниками свободы, не убедили либералов позаботиться о ней и избавить нацию от порабощения аристократией золотого тель-

ца. Проект был принят, и 5 февраля 1817 года новый закон о выборах был обнародован. Либералы в своем ревностном усердии к правительству пошли еще далее. Они приняли два закона, действительно противоречащие и конституции и самым основным понятиям о политической свободе.

Первый из этих законов отдавал на произвол администрации личную свободу, неприкосновенность которой провозглашалась конституцией. Правда, по прежнему закону, составленному в 1815 году, администрации предоставлялось еще больше произвола; новым законом смягчались постановления прежнего; но все-таки он был противен свободе и конституции. Однако же либералы поддерживали его; это тем *страннее*, что, присоединив свои голоса к голосам роялистов, противившихся закону, они могли бы отвергнуть его, и тогда конституция вошла бы в силу, личная свобода была бы ограждена. Но в таком случае потерпели бы поражение министры, представившие проект, а для либералов сохранение министерства, враждебного роялистам, было важнее, нежели восстановление свободы. Зато роялисты, год тому назад постановившие гораздо более деспотический закон, теперь кричали о нестерпимом нарушении свободы новым законом.

Та же самая история была и с законом, ограничивавшим свободу журналистики.

Либералы усердно поддерживали министерство, а между тем оно продолжало, как в 1815 и 1816 годах, подвергать тюремному заключению и смертной казни самым произвольным и противозаконным образом множество людей. Чтобы дать понять о том, как и за что погибали тогда люди во Франции, мы упомянем только об одном случае. Отставной капитан кавалерии Велю был призван в суд за то, что назвал свою лошадь казаком. «Как могли вы дать своей лошади имя, драгоценное для всех добрых французов?» — спросил судья. «Я купил ее у русского офицера и назвал казаком, как назвал бы нормандцем, если бы купил у нормандца», — отвечал капитан. «Но вы должны были знать, что вы оскорбляли народ, мужеству которого Франция отчасти обязана восстановлением законной власти». Капитан Велю не нашелся, что отвечать на такое нелепое обвинение. Ему объявили, что он предается превотальному суду. Тюремное заключение так подействовало на расстроенное военной службой здоровье капитана, что он умер. После этого не нужно говорить, какова была участь людей, обвинявшихся в нерасположении к правительству, а тем более в каких-нибудь зло-

умышлениях против него, обыкновенно изобретенных усердием шпионов.

По закону, изданному 5 февраля 1817 года, каждый год подвергалась новым выборам одна пятая часть палаты депутатов. Прошло два таких срока, в оба раза выборы сильно не благоприятствовали роялистам; они видели, что скоро совершенно исчезнут из палаты, и не имели надежды ни при каких обстоятельствах возвратить себе силу в ней под влиянием закона 5 февраля. В этом отчаянном положении они прибегли к разным интригам, чтобы запугать монархов Священного союза; граф д'Артуа послал к этим государям тайную записку, доказывавшую, что если не будет отменен закон 5 февраля, то Франция снова упадет во власть революционеров, массами проникающих в палату при каждых новых выборах. Французское министерство получило предостережения от союзных держав. Герцог Ришелье, до той поры совершенно не занимавшийся внутренними делами Франции, ограничиваясь исключительно дипломатическими заботами, и не знавший ни положения, ни духа внутренних партий, пришел в ужас и решился последовать предостережению, которое считал личным мнением русского императора. Но Деказ не обманулся уловками роялистов: он понял, что их ложные известия вовлекли в ошибку дипломатов Священного союза; он очень хорошо знал, много ли революционных опасностей в либерализме, и понимал, что губельны для престола Бурбонов могут быть только роялисты, но никак не либералы. Он воспротивился изменению прежней системы и вместе с несколькими другими министрами подал в отставку. Без Деказа Ришелье не мог управлять делами и также подал в отставку. Людовик XVIII поручил Деказу составить новое министерство.

И так герцог Ришелье, три года бывший главой министерства, сделался частным человеком. Франция была обязана ему тем, что союзные монархи поступили с нею в 1815 году гораздо снисходительнее, нежели как предполагалось. При известии о возвращении Наполеона с Эльбы Талейран, бывший французским уполномоченным на Венском конгрессе, до того растерялся, что пожертвовал всеми выгодами отечества. По ходатайству герцога Ришелье император Александр I убедил своих союзников значительно смягчить условия мира с Францией после Ватерлооской битвы. Ришелье благодаря расположению русского императора избавил Францию от платежа многих сотен миллионов франков. Потом также по его ходатайству

был двумя годами сокращен срок квартирования союзных войск во Франции. Этим Франция избавлялась от унижения видеть себя под наблюдением иностранных армий и снова выигрывала несколько сот миллионов. Словом сказать, не было в то время человека, которому Франция была бы так много обязана, как герцогу Ришелье. Теперь, переставая быть министром, он делался бедняком. Франция должна была обеспечить от нищеты старость человека, оказавшего ей безмерные услуги и для службы ей отказавшегося от блестящего и прочного положения в России. В палаты пэров и депутатов было внесено предложение «назначить герцогу национальное вознаграждение, соразмерное огромности его услуг и его бескорыстию». Министерство предложило палатам назначить ему в виде пенсии майорат в 50 000 франков из недвижимых государственных имуществ.

Если роялисты действительно были преданы престолу, они могли бы сказать против этого предложения разве то, что пенсия должна быть назначена гораздо больше. Монархические чувства герцога были вне всяких сомнений. Услуги его Бурбонам были безмерны. Не только приверженность к престолу, но и простое чувство приличий запрещало роялистам восставать против пенсии: герцог Ришелье вышел из министерства именно потому, что по желанию роялистов хотел изменить закон о выборах. Наконец чрезвычайное благородство, с которым он, узнав о намерении назначить ему пенсию, отказывался от нее, должно бы зажать рот каждому сколько-нибудь благородному человеку, хотя бы и недовольному герцогом. Но Ришелье распустил роялистскую палату 1815 года и тем разрушил перевес роялистов: этого не могли они простить ему, и предложение о пенсии подняло с их стороны самый неприличный крик. Они выставляли подобную награду примером, опасным для будущего времени; спрашивали, почему же не назначается такая же награда всем бывшим товарищам Ришелье по министерству: если действия министерства заслуживают награды, то несправедливо давать награду одному министру, а не всем; наконец, говорили они, если Ришелье был хорошим министром, то почему же он не остался министром? Он вышел в отставку, значит он сам видит, что его управление не годится для Франции, и после того как же можно награждать министра, который сам осудил себя своей отставкой?

Речи роялистов были так обидны, что когда большинство палат назначило ему пенсию, он пожертвовал ее в пользу бордосских госпиталей.

В то время как роялисты своими оскорблениями герцогу Ришелье доказывали, что прекрасно умеют ценить преданность и услуги престолу, либералы продолжали столь же ясно показывать, как ненарушими для них права свободы. Из множества фактов мы приведем один, в котором самую лестную роль играл Вильмен, до сих пор с блестящим красноречием рассуждающий о любви к свободе и в своих книгах, и в заседаниях Французской академии. Мы уже упоминали, что он тогда управлял цензурной частью. При молчании, наложенном на газеты, довольно сильный интерес в публике пробуждали статьи *Bibliothèque historique*¹⁰, печатавшей разные документы и рукописи, относившиеся к прошедшему времени. Издатель ее Гоке вздумал было поместить в прибавлении к одной из своих книжек «Разговор между изгнанником и членом палаты 1815 года». Статья эта самым мягким образом намекала, что преследования 1815 года были слишком суровы. Она была напечатана, но еще до выпуска книжки Гоке решился уничтожить этот разговор, чтобы не подвергать себя опасности. «Где же прибавление к этому номеру?» — сказал Вильмен, когда Гоке принес ему на рассмотрение книжку. Гоке отвечал, что прибавление уничтожено. Тогда Вильмен стал просить у него двух экземпляров прибавления лично для себя. «Дайте их мне не как официальному лицу, для моей частной библиотеки», — говорил он. Гоке долго не соглашался, наконец уступил просьбам Вильмена и принес ему два экземпляра прибавления; через несколько часов в типографию Гоке явилась полиция и захватила те экземпляры прибавления, которых не успели еще уничтожить рабочие, истреблявшие эту макулатуру. Гоке был подвергнут суду за то, что дал два экземпляра Вильмену, (и через два дня подвергся наказанию). Он был на три месяца заключен в тюрьму; дела его в это время расстроились, и, обанкротившись, он скоро умер от печали.

Такие либералы, разумеется, не могли служить представителями страстей и интересов, двадцать лет тому назад вызвавших французскую революцию. Образованные простолюдины чуждались их почти столько же, сколько и роялистов. Не находя себе выражения ни в партиях, разделявших палаты, ни в журналистике, революционные идеи тем сильнее волновали людей, остававшихся в сто-

роне от публичного участия в государственных делах. Скоро явились фанатики, молчаливые и скрытные, но тем более решительные. Один из них, Лувель, решился убить герцога Беррийского, который один из всех Бурбонов мог иметь потомство и продлить свою династию. 13 февраля 1820 года он железной полосой, заостренной в виде кинжала, смертельно поразил принца при выходе из оперы. Этот человек вовсе не был либералом; он не имел понятия о прениях, которые с таким шумом велись в палатах и возбуждали такие опасения в правительстве. Лувель был простым рабочим у королевского седельщика. «Что вас побудило совершить преступление?» — сказал ему Деказ на допросе. «Я считаю Бурбонов злейшими врагами Франции», — отвечал этот человек. «Зачем же вы в таком случае покусились на жизнь именно герцога Беррийского?» — «Затем, что он моложе других принцев королевского дома и, вероятно, он имел бы потомство». — «Раскаиваетесь ли вы в своем поступке?» — «Нисколько». — «Возбуждал ли вас кто-нибудь, был ли кто вашим сообщником?» — «Никто».

Действительно, Лувель не имел сообщников, но за его преступление расплатился Деказ, конечно столь же гнушавшийся им, как и самые пылкие роялисты.

Роялисты обрадовались несчастью, постигшему королевскую фамилию. Оно дало им желанный случай низвергнуть ненавистного министра. Когда на другой день открылось заседание палаты депутатов, Клозель де-Куссерг, один из отважнейших между роялистами, вошел на трибуну. «Министры должны быть обвиняемы в публичном заседании пред лицом Франции, — сказал он. — Я предлагаю палате составить акт обвинения против господина Деказа, министра внутренних дел, как сообщника в убийстве...» Крики негодования раздались со стороны министерских членов и прервали его речь. Но роялисты достигли своей цели через несколько дней. «Безрассудный, вы испортили дело, — сказал Вильель Клозелю, когда он сошел с трибуны, — вместо прямого участия в убийстве надобно было обвинять Деказа просто в измене».

Деказ был обязан своей властью чрезвычайному личному расположению Людовика XVIII. Он был любимым собеседником старого короля; он один умел развлекать его скуку; старик толковал с ним обо всем, чем интересовался сам: о городских новостях, о латинских классиках, о французской литературе, о своих сочинениях. Он одного дня не мог прожить без Деказа и называл его своим сыном.

Оставшись с ним наедине, король залился слезами: «Дитя мое,— говорил он,— роялисты начнут с нами страшную войну; они воспользуются смертью моего племянника; они нападут не на твою, а на мою систему; не тебя одного ненавидят они, а также и меня». Деказ отвечал, что как ни прискорбна была бы ему отставка в связи с таким страшным случаем, но он готов удалиться из министерства для спокойствия короля. «Нет, нет,— горячо вскричал Людовик XVIII,— ты не покинешь меня, я требую, чтобы ты остался! Они не разлучат нас». Вечером был созван совет из министров и нескольких доверенных лиц для соображений о мерах, требуемых обстоятельствами. «Господа,— сказал Людовик XVIII, обращаясь к собранию,— роялисты наносят мне последний удар; они знают, что система господина Деказа — моя система, и обвиняют его, будто он убил моего племянника! Не первую клевету подобного рода возводят они на меня. Я хочу, господа, спасти отечество без них».

Но мог ли дряхлый старик выдержать борьбу с непримиримыми врагами своего любимца, восторженно схватившимися за счастье, доставленное им рукой Лувеля? На другой день в заседании палаты депутатов 15 февраля Кюзель де-Куссерг снова вошел на трибуну и объявил, что не отступает от своего обвинения. «Я передал господину президенту следующее предложение,— сказал он: — имею честь предложить палате составить обвинение против господина Деказа, министра внутренних дел, как виновного в измене по смыслу 56-й статьи конституции». Роялисты не имели большинства в палате, обвинение было отвергнуто. Но у них были другие пути к достижению своей цели. Сила роялистов сосредоточивалась в тайном обществе, известном под именем конгрегации. Тайные иезуиты, овладевшие отцом убитого принца и братом короля, графом д'Артуа, были руководителями этого общества. Оно повсюду имело агентов, располагало огромными суммами, но скрывало свои действия так искусно, что очень немногим людям во Франции были известны даже имена людей, управлявших конгрегацией; она действовала так хитро, что в те времена многие историки и публицисты даже отвергали существование ее политических интриг. Только после 1830 года, когда найдены были тайные бумаги конгрегации, обнаружилась вся обширность ее влияния на ход событий. «Преступление Лувеля не повлекло за собою немедленного падения фаворита,— писали предводители конгрегации своим сочленам в департаментах.— Но не

смущайтесь. Мы стащим его с места силой, если сам король не захочет прогнать его; а между тем организуйтесь; ни в руководстве, ни в деньгах у вас не будет недостатка». Роялистские салоны волновались. «Деказ,— говорили там,— продал монархию революционерам; кровь герцога Беррийского запечатлевает союз его с либералами. Вы увидите, что следствие против убийцы, которому он дал полную свободу совершить свое дело, будет заглушено, и будут приняты все предосторожности, чтобы скрыть от Франции бездну заговора». Деказ хотел бороться, опираясь на либералов, и роялисты приходили в неистовство. «Поверит ли Европа? — восклицал *«Journal des débats»*, бывший тогда органом роялистов.— Этот министр, политика которого ужасает народы и царей, он, бывший до сих пор всемогущим против верных подданных, бессильным против изменников и убийц, он, вместо того чтобы расклаваться, грозит, вместо того чтобы скрыть мучения своей совести в темном уединении, он хочет, можно сказать, завладеть престолом! Неужели принимает нас за нацию идиотов этот Бонапарте лакейской? Четыре года наша несчастная страна оставлена была игрушкой в руках блудного сына; он не умеет держать бразды правления в слабах своих руках, и потому французы соглашаются жить рабами!»

Руководимые конгрегацией граф д'Артуа, герцог и герцогиня Ангулемские явились к Людовику XVIII и потребовали удаления Деказа. «Граф Деказ защищал мою власть против людей, не повиновавшихся закону и принуждавших меня итти путем, который я осуждаю,— сказал Людовик.— Этим он исполнял обязанность верного министра. Он не предлагал ничего такого, что не было бы сообразно с моими повелениями. В палате могут отделять волю моих министров от моей воли,— это понятно; но могут ли делать это различие, чистосердечно и не оскорбляя меня, члены моего семейства? Объявляю вам,— заключил король, разгорячившись от противоречия,— что я никогда не знал человека с сердцем более открытым и искренним, чем граф Деказ. Я убежден, что он пожертвовал бы жизнью за моего племянника, как пожертвовал бы за меня. Я уважаю заблуждение вашей скорби; моя скорбь не менее мучительна, но она не сделает меня несправедливым». Но принцы продолжали настаивать, и слабый старик не мог выдержать борьбы. Утомленный противоречием, он сказал наконец: «Вы так хотите, постараюсь исполнить ваше желание». Но уступка была следствием бессилия, а не со-

гласия. «День разлуки с тобою — печальнейший день моей жизни, — сказал он Деказу, передавая ему требование роялистов. — Ах, дитя мое, не тебя, а меня хотят они погубить!» Роялистам мало было лишить короля услуг преданного и любимого министра, они требовали непременно, чтобы Деказ удален был из Парижа, из Франции. Людовик принужден был уступить. Деказ отправился посланником в Лондон, в почетную ссылку. Скорбь короля от этой потери была беспрельдна. Через несколько месяцев одна мать, несчастиями разлученная с детьми, говорила ему о своей тоске по них — глухие стоны прервали ее рассказ, она взглянула на короля — у него на глазах были слезы: «Ах, и у меня отняли сына, — проговорил он, рыдая. — Они были безжалостны, они отняли его у меня!» Он говорил о Деказе.

На место Деказа Людовик XVIII призвал Ришелье. Но политические огорчения были слишком свежи в памяти герцога: два раза он отказывался от поручения составить новое министерство, не желая вновь подвергаться злобе роялистов. Наконец Людовик XVIII призвал к себе вместе с ним графа д'Артуа, и этот глава роялистов дал «честное слово благородного человека» (*sa parole de gentilhomme*), что его партия будет поддерживать Ришелье. Только тогда Ришелье согласился. Мы говорили о безграничной преданности герцога Ришелье династии Бурбонов. Его министерство было составлено из людей с монархическими убеждениями, столь же несомненными. Если бы роялисты действительно хлопотали о строго монархических началах, они могли бы быть довольны новым кабинетом. От их имени, с их согласия граф д'Артуа, называвшийся их главою, обещал поддерживать Ришелье. Посмотрим, как они сдержали это слово.

Новое министерство с самого начала исполнило все явные желания роялистов. Оно восстановило цензуру, которой требовали роялисты, потому что находили себя бессильными выдерживать борьбу с либералами перед публикой. Оно изменило закон о выборах, так что большие землевладельцы получили в свои руки исключительную власть назначать депутатов, — это было постоянной целью желания роялистов, потому что значительные поместья почти исключительно принадлежали эмигрантам, потомкам старинных феодалов. При Наполеоне три четвертых части богатых землевладельцев были из старинных знатных фамилий; по возвращении Бурбонов эта пропорция стала еще гораздо больше. Действительно, новый закон

сделал роялистов исключительно господствующим сословием в государстве. Либеральная партия, с каждым годом усиливавшаяся в палате при действии прежнего закона, дававшего участие в выборах владельцам поместий средней величины и купцам, вдруг почти совершенно исчезла из палаты после новых выборов. Весь состав администрации был изменен в угодность роялистам: подозрительные им лица тысячами были отставлены от должностей и заменены их клиентами. Наконец, по-видимому, в состав самого министерства были приняты трое предводителей роялистской партии. *«Казалось бы»* министерство всем этим довольно доказывало свое желание управлять государством сообразно с явными требованиями роялистов; нет нужды говорить, что все второстепенные дела велись в том же духе, в каком преобразована была администрация и изданы важнейшие законы. Мало того, уступчивость министерства к роялистам доходила до беспримерных границ: когда роялисты бывали недовольны той или другой подробностью какого-нибудь закона, составленного министерством в их духе, министры если не могли согласиться на перемены, предлагаемые роялистами, то просто молчали и при баллотировке не подавали голоса, чтобы не обидеть взыскательных союзников даже самым мелочным разноречием. Но роялисты, не смягчась никакой снисходительностью министерства, продолжали каждый день, на каждом шагу язвить и поражать его. Их горячность против министров пренебрегала даже основными правилами парламентской благопристойности. Вот один случай, могущий дать о том понятие. Однажды, жалуюсь роялистам на их беспрестанные выходки против министерства, оказавшего им так много услуг, министр иностранных дел Пакье отважился напомнить про обещание поддержки, данное роялистами новому кабинету при вступлении его в дела. «Ораторы, ныне нападающие на нас и выставляющие нас своим друзьям людьми, не заслуживающими доверия, — сказал он, — должны были бы говорить это тогда, когда заключался союз между ними и нами, а не теперь, когда они получили все выгоды от этого союза». В ответ на это де-Лабурдонне напал на личность самого Пакье за то, что Пакье не был эмигрантом. Пакье оправдывал себя тем, что вся нация оставалась во Франции в эпоху Республики и Империи. Удалять от дел людей, служивших при Наполеоне, значило бы отталкивать от правительства девяносто девять сотых частей нации, сказал он. «Тогда по крайней мере мы не видели бы в министерстве ни вас, ни других

вам подобных», — закричал в ответ Лабурдонне. «Достопочтенные члены, конечно, не захотят формально обвинять нас», — сказал Пакье. «Нет, обвиняем», — отвечал Кастельбажак, другой роялист. Эти ответы казались еще недостаточны для Лабурдонне. Через несколько дней, возвращаясь к прежнему предмету, он прибавил: «Я спрошу у господина Пакье, думает ли он, что хотя один честный человек может находиться в политических сношениях с ним?» Слушая такие непримиримые выходки, Казимир Перье имел полное право заметить: «Странное дело, министры не хотят видеть, что партия, властвующая над ними, уже не хочет их терпеть; пусть они сколько хотят умоляют, унижаются: их последний час пробил».

В самом деле, роялисты Вильель и Корбьер, бывшие членами министерства, объявили намерение удалиться от должностей, не дожидаясь конца даже первой сессии, бывшей после нового закона о выборах, доставившего перевес роялистам. Напрасно Ришелье и Пакье думали купить их содействие новой уступкой, предлагали им портфели: Вильель и Корбьер удалились из Парижа, чтобы не участвовать в совещаниях кабинета, и скоро подали в отставку.

Чего же хотели роялисты? Чем были недовольны они, когда Ришелье и его товарищи с полной готовностью исполняли все их требования? подумает читатель. Нет, последнее выражение не точно; пусть читатель припомнит, что мы постоянно употребляли фразу: «все явные требования роялистов», а не говорили просто: «все требования». Дело в том, что у этой партии задушевными желаниями были стремления, о которых не находила она полезным говорить публично. Каково было отношение этих задушевных мыслей к королевской власти, покажет пока один пример. Министры внесли закон о муниципальном устройстве, то есть об организации городской и сельской администрации. Почти все местные начальства избирались по этому проекту богатейшими землевладельцами; администрация почти вся переходила во власть потомства древних феодалов; кажется, роялисты могли быть довольны. Но назначение префекта предоставлялось королю. Роялисты вскипели негодованием на такой деспотизм. Они хотели до поры до времени кричать, что они — роялисты, то есть люди, исключительно преданные царствующей династии; но уже и теперь находили нужным вести дела так, чтобы королю не оставлялось ни малейшего участия

в управлении государством. В самом деле, зачем королю власть, если могут отнять ее у него люди, столь преданные ему, как роялисты?

Тогда-то Людовик XVIII из глубины оскорбленной души воскликнул: «Я отдавал им права моей короны; они отвергают меня. Это — хороший урок». В самом деле, к чему принимать в подарок то, что можно взять по праву собственной силы или интриги? Уступка стеснительна, она обязывает быть снисходительным; насильственная победа лучше: завоеватель не обязан быть благодарен.

Роялисты благодаря закону о выборах, составленному министерством Ришелье, видели себя властелинами Франции, к чему же было им церемониться с королем? И потому, когда снова собралась палата депутатов в конце 1821 года, роялисты, при своем огромном большинстве в ней могшие действовать уже откровеннее прежнего, первым своим долгом почли нанести личную дерзкую обиду королю: нужно же было доказать (этому старику), что они сильнее его. Каждая сессия палат по общему обычаю всех парламентских правительств начинается составлением адреса в ответ на речь, произносимую королем при открытии парламента. Правительство, зная враждебный дух палаты депутатов, постаралось до того сгладить тронную речь, чтобы в ней не осталось ничего, кроме общих фраз, и не было ни малейшего предлога к какой-нибудь придирке в ответном адресе. Напрасно. Обычной фразы всех без исключения тронных речей о мирных отношениях правительства с иностранными державами было достаточно роялистам, чтобы найти случай к личной обиде короля. «Наши отношения с иностранными державами не переставали быть дружескими, и я имею твердую уверенность, что они останутся такими же впредь», — сказал король в тронной речи. Комиссия роялистов, составлявшая адрес, предложила палате отвечать на это следующими словами: «Мы радуемся, государь, постоянно дружеским отношениям вашим с иноземными державами в справедливой уверенности, что мир, столь драгоценный, не куплен пожертвованиями, несовместными с честью нации и достоинством короны».

Министры ужаснулись, когда докладчик комиссии, горячий роялист Делало, прочел палате проект адреса. Пакье тотчас же вошел на трибуну и потребовал уничтожения параграфа, обидного для короля. «Король не может унижать достоинства своей короны, — сказал он, — всякий намек об этом непочтителен, и палата не захочет подать

такой пример». — «Как! — вскричал де-Серр, министр внутренних дел. — Ваш президент пойдет сказать королю в лицо, что палата имеет справедливую уверенность, что король не наделал низостей! Это — смертельная обида». Но министры ошибались, полагая обязанностью роялистской палаты не наносить оскорбления королю: она иначе понимала свой долг. «Если допустить теорию министров, — отвечал Деладо от имени комиссии, — то ответы палаты на тронные речи должны бы ограничиваться простым парафразом тронных речей, предназначенным скрывать от короля всякую истину. Обязанность палаты не такова. Говоря от имени страны, палата обязана говорить с монархом таким языком, который высказывал бы королю о правительственных действиях не мнение министров, а мнение Франции». Адрес, составленный комиссией, был принят без всяких изменений палатой по огромному большинству голосов.

Людовик XVIII был глубоко оскорблен. По обычному порядку аудиенция для представления адреса королю назначалась президенту, вице-президентам и особенной депутации, избираемой палатой на этот случай, в тот же самый день, как он был принимаем палатой. Теперь король целых три дня не назначал этой аудиенции; наконец было объявлено палате, что король допускает к представлению адреса только президента палаты, с вице-президентами, не желая принимать депутацию. Президент, явившись на аудиенцию, хотел по обычаю прочесть адрес. Людовик, сидевший с гневным лицом, остановил его, взял у него бумагу и, не взглянув на нее, сказал:

«Я знаю адрес, представляемый вами.

В изгнании, среди преследований, я поддерживал мои права, честь моего дома и французского имени. Занимая престол и окруженный моим народом, я негодую при одной мысли, чтобы я мог когда-нибудь пожертвовать честью моей нации и достоинством моей короны.

Я хочу думать, что большая часть тех, которые вотиновали этот адрес, не взвесили всех его выражений. Если бы они имели время обсудить их, они не допустили бы предположения, о котором я как король не должен говорить, о котором я как отец желал бы забыть».

Король мог оскорбляться, сколько его душе было угодно, но он должен был покоряться. Министерство прибегло к новым уступкам, чтобы смягчить роялистов. Негодование короля мало подействовало на них; нужно было гнев заменить смирением. Министерство представило

проекты двух законов, которыми думало угодить роялистам, кричавшим против вольнодумства газет. Оно предложило усилить и продлить еще на пять лет временно существовавшую тогда цензуру. <«Продлить цензуру еще на пять лет,— вскричал составитель адреса Делало, обращаясь в пылкого защитника свободы,— да вам, королевские министры, нужна цензура, чтобы подавлять всякое общественное мнение, всякую истину, всякую совесть! Вам нужен мрак для исполнения ваших замыслов, вы ненавидите свет, боитесь его, бежите его, но свет неизбежен; он обнимает вас, он преследует вас; он выдаст ваши преступные замыслы, вы не избежите истины, вы не избежите правосудия. За ваши замыслы вы будете отвечать вашими головами».> Но роялисты вдруг обратились в яростных защитников свободы и проклинали деспотические желания министров.

С каждым днем нападения роялистов на кабинет становились ожесточеннее. Ни одно действие, ни одно слово правительства не избегало самых бурных порицаний. Король должен был уступить. Ришелье и его товарищи подали в отставку. Граф д'Артуа ввел к королю Вильелья для составления нового, чисто роялистского министерства. 15 декабря 1821 года было обнародовано королевское повеление, назначавшее Вильелья министром финансов, Корбьера — министром внутренних дел и других предводителей роялистской партии — министрами других департаментов. Изнуренный шестилетней борьбой король отступился от всякого участия в управлении государством. «Наконец г. Вильель торжествует,— писал он к одному из своих друзей.— Я мало знаю людей, входящих с ним в мой кабинет; надеюсь, они будут так рассудительны, что не последуют слепо всем страстям роялистов. Впрочем, я удаляюсь в ничтожность с настоящей минуты. *Au reste je m'annule dès ce moment*».

Действительно, король был принужден роялистами отказаться от всякой мысли об участии в правлении. Даже список нового министерства был составлен без малейшего вмешательства его воли. Конгрегация выбрала своих членов в министры, кого и как хотела, даже не советуясь с королем.

Так держали себя роялисты относительно королевской власти. Не только тогдашние либералы, умеренные представители скромных желаний среднего сословия, но самые заклятые республиканцы не могли бы топтать и власть, и личность короля с такой непреклонной дерзостью.

Вступление роялистов в кабинет короля было, по собственному выражению короля, аннулированием короля.

Путем беспощадной борьбы против короля достигли роялисты власти. Посмотрим теперь, на достижение каких целей будут они употреблять свою власть. Быть может, цель не совсем похожа на средства; быть может, действия роялистского правительства окажутся более согласны с интересами престола и царствовавшей династии, нежели способы, которыми роялисты захватили власть.

Статья вторая и последняя

Министерство Вильеля.— Испанская экспедиция.— Полное владычество роялистов.— Они издают законы, противные интересам монархической власти.— Ультрамонтанцы и белое духовенство.— Карл X.— Выдача вознаграждения эмигрантам.— Восстановление майоратств.— Распадение между роялистами; оппозиция Шатобриана и оппозиция Лабурдонне.— Закон о книгопечатании.— Новые выборы.— Падение Вильеля.— Умеренное министерство Мартиньяка.— Оно беспокоит иезуитов.— Роялисты обращаются против Карла X.— Путешествие Карла X по восточной Франции.— Роялисты убеждают его прекратить спиходительность к либералам.— Министерство Полиньяка.— Отношения партий перед июльскими днями.— Политика, наиболее выгодная для династии.— Союз династии с роялистами совершенно противен ее интересам.— Отношения либералов к народу.— Характер министерства Полиньяка.— Беспокойство овладевает Францией.— Адрес палаты депутатов.— Она распущена.— Новые выборы.— Слухи о насильственных мерах.— Русский император и Меттерних хотят спасти Карла X.— Июльские повеления.— Катастрофа.— Поведение роялистов.— Крайняя трусость либералов.— Безвредность их торжества для королевской власти и бесполезность его для народа.

(1821—1830)

Первый важный вопрос, представившийся министерству Вильеля, был возбужден испанскими делами. Нам нет нужды излагать события, вследствие которых Фердинанд VII, король испанский, принужден был в 1820 году восстановить конституцию, которую принял при своем возвращении в Испанию в 1814 году. Довольно будет сказать, что часть аристократии, а еще более иезуиты, игравшие до того времени при дворе важнейшую роль, были страшно недовольны принятием конституции и во многих местах пытались поднимать восстания, чтобы низвергнуть ее вооруженной рукой. Испанское духовенство, находившееся под влиянием иезуитов, принимало главнейшее участие в этих восстаниях; архиепископы и епископы были чаще всего предводителями инсургентов. Но их усилия были напрасны: инсургенты были побеждены повсюду и при-

нуждены искать убежища в Пиренейских горах на французских границах.

Во Франции испанские события пробуждали самый живой интерес: либералы и роялисты видели своих братьев в испанских приверженцах и противниках конституции. Роялистские журналы громко требовали, чтобы Франция послала в Испанию войско на помощь инсургентам.

Но Людовик XVIII был чрезвычайно мало расположен тратить деньги и кровь своих подданных на восстановление беспорядочного и чрезвычайно жестокого управления, которым Фердинанд VII восстановил против себя всех, защищавших его корону против Наполеона. Французский король говорил о характере Фердинанда VII в выражениях столь резких, что мы не хотим здесь повторять их, считая его человеком, не заслуживающим ни малейшего сочувствия или уважения.

Мнение Людовика XVIII, конечно, не имело тогда большой важности во Франции: роялисты, как мы видели, отняли у короля влияние на дела. Гораздо важнее было то, что Вильель, душа министерства, также не хотел помогать инсургентам. Французские финансы только еще начинали приходить в нормальное положение после страшных жертвований, каких стоили наполеоновские войны, а потом примирение с Европой. При всех своих недостатках Вильель имел одно достоинство: он старался соблюдать экономию в государственных расходах и хотел восстановить равновесие в бюджете. Войною в Испании расстроились бы французские финансы, потому Вильель никак не соглашался на нее. Отрывки из его дружеских писем к Шатобриану, бывшему посланником на Веронском конгрессе¹¹, могут доказать искренность и твердость его отращения против испанской экспедиции. «В нынешнем году за всеми расходами останется 25 000 000 франков, — писал он. — Зачем эти несчастные иностранные дела мешают такому благосостоянию? Война будет иметь гибельное влияние на наши фонды, нашу морскую торговлю, нашу промышленность. Несмотря на продажные декламации нескольких газет (Вильель говорит о роялистских газетах, требовавших войны), здравое и общее мнение отвергает войну; постарайтесь, мой друг, всеми силами отворотить это несчастье. Да пощадит бог наше отечество и Европу от этой войны, которая, — предсказываю с полным убеждением, — будет гибельна для Франции».

Действительно, при одном слухе о войне государственные фонды понизились на девять франков; финансовые операции для правительства стали затруднительны, торговля упала.

Газеты, поддерживавшие правительство, доказывали неуместность войны; но они были малочисленны; огромное большинство роялистских газет настойчиво требовало войны, повинаясь внушениям конгрегации. Инструкции этого тайного общества произвели в действиях французского правительства явления почти беспримерные в истории. На Веронском конгрессе должен был обсуждаться испанский вопрос. Уполномоченным от Франции был послан на конгресс министр иностранных дел Монморанси. Министерство, руководимое Вильелем, дало ему инструкцию, по которой он должен был всячески стараться избавить Францию от обязательства вмешиваться в испанские дела. Конгрегация приказала ему действовать иначе, и Монморанси придал переговорам об Испании оборот, совершенно противный своим инструкциям. Министерство не могло терпеть такого нарушения обязанностей, и Монморанси был удален. Место его занял Шатобриан. Знаменитый поэт был другом Вильеля, но поступил еще лучше, нежели Монморанси. Первый французский уполномоченный, действуя против своих обязанностей, по крайней мере сообщал о том главе министерства; Шатобриан почел выгоднейшим для своих целей обманывать кабинет. В депешах к Вильелю он представлял в фальшивом свете совещания конгресса; запутывая переговоры таким образом, чтобы Франция получила от Европы поручение послать войско в Испанию, он представлял себя кабинету верным исполнителем инструкций министерства и обманул Вильеля до такой степени, что по возвращении в Париж сделался министром иностранных дел.

Мы не говорим уже о сопротивлении роялистов желаниям короля, — они давно не щадили его, давно лишили его власти; их поступки в испанском деле представляют особенность более замечательную: правительство было составлено по их желанию из вернейших предводителей их собственной партии; они идут наперекор даже этому министерству, они заставляют агентов министерства изменять ему. В истории дипломатии интрига и обман вовсе не редкость; но до такой степени дипломатической измены, как Шатобриан, не доходили ни пошлые агенты Помпадур и Дюбарри, ни сам Талейран. Посланники Людовика XV

обманивали свое министерство, но они могли извиняться по крайней мере тем, что действуют сообразно тайным инструкциям короля. У Шатобриана не было и этого извинения. Он обманывал и короля, и министров вместе. Все законные власти Франции были преданы им за один раз в угодность людям, не имевшим никакого права руководить хотя бы самым ничтожным делом, преданы в угодность людям, которые не смели даже публично произносить своего имени, скрываясь от взоров нации. Министры Людовика XV, обманывавшие друг друга, были по крайней мере во вражде между собою; притом же они и не имели притязания выдавать себя за честных людей; Шатобриан обманывал своего друга, обманывал в то самое время, когда возвышался в министры его доверием и не переставал считать себя человеком благородным. Таковы-то были интриги тайных руководителей роялистской партии, что даже люди, по природе своей честные, не колеблясь, совершали низости по их внушению. Если б мы не знали, кто управлял конгрегацией, руководившею роялистами, мы уже по этим одним признакам безошибочно отгадали бы иезуитов.

Знаменитое иезуитское правило говорит, что цель оправдывает средства: быть может, Шатобриан и ему подобные, не пренебрегая никакими средствами для возвращения произвольной власти над Испанией Фердинанду VII, могли по крайней мере оправдываться сами перед собою возвышенностью своей цели. Нет, Шатобриан думал о Фердинанде точно так же, как и Людовик XVIII, и очень хорошо знал, что его жестокие капризы были и будут стыдом для имени Бурбонов. Конечно, большая часть роялистов думала точно так же о человеке, которому хотела помогать.

Зачем же в таком случае они так ревностно хлопотали об испанской экспедиции? Предводителями испанских инсургентов были иезуиты, управлявшие Фердинандом; руководителями роялистов были иезуиты, управлявшие конгрегацией. Потому и король, и роялистское министерство должны были отказаться от убеждения, что испанская экспедиция будет вредна для Франции.

Приближалось время, когда должна была собраться палата депутатов. Министры совещались о том, какая политика по испанскому вопросу будет выражена в тронной речи. Не дальше как за семь месяцев перед тем при открытии предыдущей сессии король говорил: «Только зложелательность может приписывать нашим действиям на-

мерение вмешаться в испанские дела». Теперь Вильель снова утверждал, что тронная речь должна отвергать испанскую экспедицию, требуемую большинством роялистских газет. Но Корбьер, министр внутренних дел, показал ему письмо от одного из роялистских депутатов, который писал: «Министры компрометируют свое положение, замедляя вступление наших войск в Испанию. Их колебание до того раздражает роялистов, что все вновь избранные депутаты показывают твердую решимость низвергнуть министерство, если тронная речь не будет содержать формального, положительного объявления о немедленном вторжении в Испанию». Некоторые другие министры подтвердили предостережение своего товарища. Вильель должен был уступить. Тронная речь положительно объявила, что сто тысяч войска готовы вступить в Испанию. Вся Франция волновалась от негодования; государственные фонды упали еще на четырнадцать франков, с 89 на 75.

Вильелю приходилось теперь играть такую же роль, до какой прежде унижал он герцога Ришелье. Он должен был трепетать роялистского большинства палаты депутатов, то есть трепетать своей собственной партии.

Испанская экспедиция была удачна в военном отношении; крайние роялисты торжествовали. Вильель должен был исполнять все их требования. На первый раз эти требования относились к двум предметам. Роялисты желали воспользоваться своим торжеством, чтобы как можно долее удержать за собою власть. Они хотели, чтобы прежний пятилетний срок существования палаты был заменен семилетним и произведены были новые выборы. С тем вместе они требовали, чтобы власть духовенства над гражданскими делами была увеличена. Вильель уступил в том и другом.

Продолжительный срок бессменного существования одной и той же палаты депутатов давал ей больше независимости от правительства. Это не нуждается в объяснениях. Но для тех читателей, которые незнакомы с положением французского духовенства, нужно сказать несколько слов о характере той части духовенства, пользам которой служили роялисты.

Несмотря на безбрачие приходского духовенства в католических землях, между приходским или белым духовенством и монахами существует в них коренная разница, которая во Франции обнаруживается сильнее, нежели где-нибудь. Нет надобности быть католиком, чтобы сочувст-

вывать потребностям приходского духовенства во Франции. Большая часть его отличается христианскими добродетелями. Исполняя свои религиозные обязанности, приходский священник во Франции вообще чуждается политических интриг; он верен своей национальности и не питает вражды к светской власти, в которой, напротив, ищет себе опоры против самовластия ультрамонтанцев¹². Совершенно иное дело французские монахи. Как бы ни назывался на бумаге их орден, почти все они иезуиты; разные названия, придумываемые ими для себя, служат только к тому, чтобы скрыть принадлежность их к иезуитскому ордену. Между тем как приходское духовенство вообще поддерживает национальные интересы, иезуиты все поголовно ультрамонтанцы, и интересы Франции для них ничтожны в сравнении с выгодами ордена и папской власти, которая обыкновенно находится под их влиянием. Все проникательные французские правительства со времен Генриха IV, какие бы чувства ни питали относительно католической религии, находились в необходимости бороться против ультрамонтанцев. От этих явных или тайных иезуитов происходят все скандалы, которыми компрометируется католицизм во Франции. Они заводят в семействах интриги, чтобы доставлять своим конгрегациям богатые пожертвования, из которых почти каждая соединена с отнятием имущества у законных наследников. Их конгрегации ведут обширные торговые спекуляции всякого рода, приобретают огромные поместья и дома, вообще владеют громадными богатствами, между тем как приходское духовенство вообще терпит сильную нужду. Почти все французские епископы и прелаты выходят из конгрегаций и остаются под их влиянием. Из двадцати французских епископов едва ли найдется один, который не был бы ультрамонтанцем, то есть иезуитом, врагом французской национальности и гражданского французского правительства, каково бы оно ни было.

Когда говорится о политической силе духовенства во Франции, тут всегда разумеется исключительно ультрамонтанская партия, состоящая из различных конгрегаций и владеющая почти всеми епископствами. Она враждебна национальному приходскому духовенству, но чрез епископов имеет над ним полную власть, которой пользуется чрезвычайно притеснительно.

Таким образом, когда мы слышим о вражде или дружбе французского правительства с духовенством, вовсе не надобно полагать, чтобы этим означалось покровительство

или гонение со стороны правительства относительно огромного большинства французского духовенства. Напротив, дело идет только об отношениях правительства к иезуитам, располагающим конгрегациями и властью епископов, посредством которой они угнетают белое духовенство, то есть огромное большинство духовного сословия во Франции. Вообще приходское духовенство, достойное всякого уважения, отдыхало во Франции только тогда, когда правительство вооружалось против ультрамонтанской партии, называющей себя исключительно представительницей католических интересов, но в сущности заботящейся вовсе не о пользах религии, а единственно о приобретении богатств и о подчинении светской власти иезуитскому влиянию.

Так и в настоящем случае дело шло вовсе не о том, чтобы улучшить положение французского духовенства вообще, а исключительно о доставлении богатств и власти членам конгрегации. Почти все приходские священники во Франции, как мы сказали, жили скудно, получая очень небольшое жалованье. Конгрегация, заставляя министерство Вильеля исполнять свои требования, и не подумала об улучшении состояния этих бедняков. Она требовала только, чтобы епископам, находившимся под властью иезуитов, было отдано управление светскими училищами, как было в старину, и чтобы епископам возвращена была гражданская власть, которой пользовались они в XVIII веке. То и другое было исполнено. Иезуиты овладели министерством народного просвещения. Все профессора, не расположенные к иезуитам, в том числе Гизо, были удалены от чтения лекций. Префекты и вся провинциальная администрация должны были повиноваться епископам.

Кто хотя несколько знаком с французской историей, тот знает, что монархическая власть во Франции возвысилась борьбою против притязаний ультрамонтанизма. Теперь правительство было принуждено подчиниться ему. Светское могущество духовенства, то есть епископов и монастырей, составляло одну основу феодального порядка, враждебного монархической власти. Другой основой феодализма было могущество светских аристократов, пользовавшихся почти самодержавною властью в своих огромных поместьях. Одной цели роялисты достигли, надобно было позаботиться о достижении другой. Первым шагом к тому представлялось вознаграждение эмигрантов за поместья, конфискованные во время революции.

Пока был жив Людовик XVIII, феодалы никак не могли исполнить этого своего желания. Но теперь счастье было решительно на их стороне. 16 сентября 1824 года Людовик XVIII скончался, и на французский престол вступил граф д'Артуа, бывший до сих пор предводителем роялистов, по крайней мере по имени, если не на самом деле, и слепым орудием в руках конгрегации.

Далеко уступая умственным способностям Людовика XVIII, Карл X не замечал противоположности между желаниями роялистов, стремившихся восстановить феодальное устройство, и потребностями королевской власти, которая усилилась во Франции беспощадным сокрушением силы феодалов и могла поддерживаться только в таком случае, если продолжала защищать от них нацию. Роялисты могли теперь действовать отважнее прежнего благодаря иезуитам, совершенно ослепившим нового короля. В минуту смерти Людовик XVIII призвал ребенка, на котором покоились надежды продолжения старшей линии Бурбонов, и, благословляя его, печально сказал: «Пусть бережет мой брат корону этого ребенка»¹³. Он предчувствовал, что доверие Карла X к роялистам будет губительно для его династии.

Действительно, быстро последовали один за другим законы, восстанавлившие против королевской власти национальное чувство, возвышавшие феодализм на счет королевской власти. Из них мы упомянем только о немногих важнейших.

Первым делом роялистов при новом короле было потребовать вознаграждение за поместья, конфискованные у эмигрантов. Напрасно самыми точными расчетами доказывалось, что милости, какими пользовались эмигранты в течение десяти лет, прошедших со времени Реставрации, с избытком вознаграждали всю потерю, понесенную ими прежде. Доходы проданных поместий не простирались и до 50 миллионов франков; эмигранты под формою жалованья и пенсий уже получали ежегодно от государства более 70 миллионов. Но дохода им было мало; они желали восстановления владений, которые ставили бы их в независимость от королевской власти. Вильель должен был предложить закон о выдаче роялистам тысячи миллионов франков за имения, проданные во время революции. Повидимому, роялисты могли быть довольны: оценка, составленная ими самими, показывала, что ценность проданных имуществ не превышала этой суммы. Но ревностнейшие роялисты напали на проект Вильеля за его пре-

ступную снисходительность к революционерам. «Указывают на статью конституции, гарантирующую покупателям конфискованных имений неприкосновенность их собственности,— говорил Лабурдонне.— Но эта статья была и могла быть только простой политической мерой; она могла обеспечивать покупателям владение купленными имуществами, но не могла дать им права собственности на эти имущества. Право собственности дается только исполнением условий, которым подлежит всякая продажа имущества по распоряжению государственной власти; именно тут необходима была бы выдача вознаграждения прежнему владельцу до вступления покупателя во владение продающимся имуществом. Одно из двух: или так называемые национальные собрания времен революции были собраниями незаконными, и в таком случае все их декреты — только насильственные меры, лишённые законной силы; этими мерами у эмигрантов могло быть отнято фактическое пользование имуществами, но не могло быть отнято законное право собственности; или же революционные собрания были законной властью,— тогда эмигранты, по закону лишившись своих имуществ, не имеют никакого права ни на малейшее вознаграждение. Проект, представленный министрами, обманывает все надежды. Он не даёт эмигрантам столько, чтобы удовлетворить их и тем обеспечить покупателей конфискованных имуществ от дальнейших требований со стороны эмигрантов. Этот проект — чистый обман». Таким образом Лабурдонне довольно ясно намекал, что эмигранты могут быть довольны лишь одним тем, когда продажа поместий будет объявлена не имеющей законной силы, и поместья будут отняты у настоящих владельцев и возвращены прежним. Другой роялист, де-Бомон, высказался ещё прямее: «Король не имеет власти утверждать незаконную конфискацию имуществ целого класса своих подданных, как не имеет власти отнимать имущество у отдельного человека. Конституция, гарантируя продажу конфискованных имуществ, имела в виду только одно то, чтобы оградить покупателей от судебного преследования со стороны законных владельцев за несправедливое пользование доходами поместий в прежние годы. Что же нужно сделать теперь? — вернуть каждому то, что ему принадлежит: поместья вернуть эмигрантам, а покупателям выдать вознаграждение». Либералы справедливо утверждали с своей стороны, что проект, представленный министерством, составляет только первый шаг на пути вознаграждения эмигрантам. «Мы теперь

только вступаем на дорогу вознаграждений,— сказал генерал Фуа, один из немногих либеральных членов палаты.— Закон этот объявляет эмигрантов имеющими право на получение всей ценности их проданных имений. Они скажут, что им заплатили не всю ценность этих имений, и останутся кредиторами общества, кредиторами тем более грозными, что овладели всеми правительственными местами. Естественным залогом, обеспечивающим кредитору долг, служит поместье, за которое взыскивается долг. Какой же покупатель заснет спокойно под страхом такого долга?» Действительно, покупщики конфискованных имений должны были опасаться всего. Даже де-Бомон не высказал еще последней задушевной мысли роялистов. Он говорил о возвращении поместий эмигрантам, но упоминал о вознаграждении покупателей. Когда прения разгорячили членов палаты, явился оратор, высказавшийся откровеннее. Дюплесси де-Гренедан потребовал возвращения поместий эмигрантам без всякого вознаграждения покупателям. Давать им вознаграждение, по его словам, значило бы признавать их права и делать им уступку; а покупка, ими сделанная, была незаконна; следовательно, они не имеют никаких прав, завладели поместьями как грабители и, подобно грабителям, не могут быть вознаграждаемы. «Девятая статья конституции,— прибавлял он,— говорит: собственность объявляется неприкосновенной; но тут дело идет только о настоящем, а не о будущем времени; конституция не говорит, что собственность навсегда останется неприкосновенной. Если вникнуть в истинный смысл статьи, мы увидим, что она может относиться только к собственности, приобретенной законным образом. Было слишком нелепо перетолковывать закон так, чтобы придавать ему смысл о неприкосновенности собственности, даже приобретенной воровством. В девятой статье конституции подразумевается слово «законный», истинный смысл ее таков: собственность неприкосновенна, когда приобретена по актам, имеющим законную силу».

Намерение роялистов выразилось ясно; трудно описать волнение, произведенное в массе среднего сословия и даже простолюдинов этими прениями. Поместья, конфискованные у эмигрантов, были распроданы по большей части мелкими участками; число покупателей было огромно. Со времени конфискации прошло около 30 лет; большая часть купленных тогда земель перешла уже в другие руки по наследству или через продажу законным путем. Теперь всем этим владельцам угрожала опасность потерять иму-

щество. Династия подвергалась опасности для того, чтобы потомки прежних феодалов могли восстановить свою независимость от короны.

Но для восстановления феодального права недостаточно было стремиться к возвращению феодалам их прежних владений; надобно было также позаботиться о том, чтобы могущество знатных фамилий не уменьшалось от раздробления поместий по праву наследства, принятого французским законодательством. Через несколько времени после принятия закона о выдаче эмигрантам миллиарда франков министерство представило палате пэров закон, восстанавливающий право первородства, которым в средние века поддерживалось феодальное устройство. По гражданскому кодексу — часть отцовского имения переходит непременно в наследство детям, которые все получают поровну; другая часть предоставлена свободному распоряжению отца и может быть завещана им кому угодно; если же он не сделает распоряжения, она также делится поровну между детьми. Роялисты еще не отваживались требовать изменения всех этих постановлений. Они требовали, чтобы та часть имущества, которой может располагать отец по завещанию, не делилась поровну между детьми при отсутствии завещания, а вся переходила к старшему сыну в тех случаях, когда имущество состоит из поземельного владения, платящего не менее 300 франков прямых податей. Сверх того, предоставлялось владельцу такого поместья обращать его в субституцию, то есть делать его майоратом, который бы уже не подлежал при следующих поколениях разделу и вечно оставался бы в руках одного только старшего потомка по нисходящей линии, который притом не мог при своей жизни продать ни всего имения, ни какой-либо части его.

Влияние права первородства и субституций на политическое устройство общества известно каждому. Неминуемым следствием этих учреждений бывает образование поземельной аристократии, быстро приобретающей больше силы, нежели сколько силы остается у короны. При субституциях и праве первородства титул короля может сохраняться, но власть его исчезает, и государство, нося имя монархии, в сущности становится олигархической республикой.

Проект закона, предлагавшийся теперь, конечно должен был служить только первым шагом к совершенному отменению раздела недвижимой собственности между старшим сыном и другими детьми, с предоставлением

всего наследства одному старшему сыну. К счастью, палата пэров отвергла этот проект.

Вильель в глубине души был очень рад несогласию палаты на проект, представленный от его имени. Он сам не одобрял этой меры, как и многих других, которые должен был принимать, подчиняясь требованиям конгрегации.

После смерти Людовика XVIII конгрегация приобрела такое могущество, что уже далеко не каждый роялист мог получить ее покровительство; число прозелитов было громадно; иезуиты, руководившие конгрегацией, стали очень разборчивы в раздаче своих милостей. Многие из роялистских членов палаты были обойдены местами, не получили просимых наград для своих родственников, оттого в роялистской партии начались раздоры. Предводителем недовольных был Шатобриан. Вильель не мог простить ему обмана в испанском вопросе. Тщеславный поэт не был способен заниматься делами в кабинете министерства, но в аристократических салонах провозглашал себя истинным главою министерства, свысока третируя Вильеля; этим усиливался раздор между двумя министрами. Наконец Шатобриан, сердясь на Вильеля за собственную свою ничтожность в деловом отношении, начал и в палате говорить двусмысленные речи. Доведенный до крайности, Вильель отнял у него портфель иностранных дел. Лишившись места, Шатобриан вдруг обратился в противника стеснительных мер, которых прежде требовал с большею горячностью, нежели кто-нибудь. Он сделался журналистом и органом своим избрал «*Journal des Débats*». Министерство не имело более опасного врага.

Кроме недовольных по личным расчетам, были роялисты, недовольные Вильелем по различию в политических мнениях. С одной стороны, многие видели, что конгрегация заходит слишком далеко, что, например, угрозы покупателям конфискованных имуществ и усилия восстановить право первородства приведут их партию к падению; они требовали политики более осторожной, какой хотел бы следовать и сам Вильель, если бы мог. С другой стороны, находились роялисты, заметившие, что с Вильелем, от природы расположенным к осмотрительности, никогда не пойдут феодальные преобразования так быстро, как хотелось бы этим фанатикам, чуждым всякого благоразумия. Роялисты, бывшие умереннее Вильеля, сгруппировались около Шатобриана, который теперь очень любовно толковал о конституции, прежде казавшейся ему источником всяких бедствий. Роялисты, осуждавшие мед-

ленность Вильеля, имели своим предводителем Лабурдонне, которого не любила конгрегация и потому не допускала в министерство. Обе эти партии постоянно усиливались в палате и начали думать уже о низвержении Вильеля.

Конгрегация вынудила министерство составить проект нового закона о книгопечатании. Обе партии роялистов, недовольные Вильелем, соединились с либералами против нового закона, и Лабурдонне, глава самых горячих роялистов, заговорил языком совершенно либеральным; он обвинял министров в нарушении конституции. «Утомленная политическими волнениями, — говорил он, — Франция хочет покоя. Надежду достичь и сохранить его она поставила в союзе династии с конституцией. Напрасно горсть людей, увлекаемых страстями или руководимых воспоминаниями, надеется разорвать связь между этими двумя гарантиями общественного порядка. Вся Франция равно отвергает и тех, которые желали бы конституции без династии, и тех, которые желали бы династии без конституции; Франция желает, Франция поддерживает тех, которые сумеют неразрывными узами связать эти два блага. Успех ожидает их, если они открыто пойдут под знаменем конституционного легитимизма. Франции обещаны были конституционные учреждения; Франция поддерживает конституцию во всей ее целостности. Я подаю голос против министерского проекта». Два или три года тому назад Лабурдонне призывал небесное мщение и уголовные наказания на людей, защищавших конституцию; теперь он сам объявлял, что не хочет поддерживать Бурбонов иначе, как под условием соблюдения конституции. Это было дурным предзнаменованием для министерства. Правда, закон был принят, несмотря на оппозицию Лабурдонне; но из 367 депутатов уже 134 положили черный шар; еще недавно в урне бывало не более 12 или 15 черных шаров.

Принятый палатой депутатов проект закона был перенесен в палату пэров; она отвергла его большинством 113 голосов против 43. Уже давно оппозиция взяла верх в палате пэров. Министерство должно было прибегнуть к назначению 70 или 80 новых пэров, чтобы возвратить себе большинство в верхней палате; но почти все эти назначения надобно было сделать из палаты депутатов. Взяв из нее 60 или 70 министерских членов, Вильель слишком ослабил бы в ней свое большинство, и без того быстро уменьшавшееся. С другой стороны, Вильель предвидел, что отсрочивать новые выборы в палату депутатов до ис-

течения семилетнего срока ее существования было бы очень опасно. Роялисты с каждым днем восстанавливали против себя общественное мнение. Хотя сословие тогдашних избирателей исключительно ограничивалось большими землевладельцами, жаркими роялистами, но и они начинали понимать, что реакция против либерализма переходит границы благоразумия. Вильель знал, что через два года роялисты потерпят поражение на выборах. Он надеялся, что в настоящую минуту еще успеет привести выборы к выгодному для роялистов результату. Он решил распустить палату, в которой не надеялся удержать за собою большинство, ожидая, что новые депутаты будут благоприятнее ему. Действительно, распускание палаты оставалось для него единственным средством избежать судьбы, которая постигла герцога Ришелье. Давно уже он был принужден слепо исполнять даже и те требования палаты депутатов, которых совершенно не одобрял. Скоро палата низвергла бы его, если б он не предупредил удара, распустив ее.

Расчет Вильеля был справедлив; министр ошибся только в одном: надобно было распустить палату гораздо раньше; роялисты господствовали в ней слишком долго. Они успели слишком ясно высказать свои намерения. Сам Вильель так долго подчинялся их неосторожным желаниям, что успел уже безвозвратно компрометировать свое министерство. Выборы, назначенные в ноябре 1827 года, произведены были под влиянием совершенного недоверия нации к людям, которым покровительствовала конгрегация.

Хотя немногочисленные избиратели составляли среди нации совершенно исключительный кружок, но все-таки не могли они не подчиняться до некоторой степени голосу общественного мнения. В прежней палате из десяти членов девять были роялисты; в новой голоса разделялись так: около 170 роялистов, составлявших правую сторону, около 170 либералов, составлявших левую сторону, и в центре около 50 членов, бывших прежде горячими роялистами, но теперь увидевших опасность пути, по которому шли роялисты, и начавших действовать самостоятельно.

На другой же день после того, как стал известен результат выборов, Вильель увидел необходимость выйти в отставку. Центр и левая сторона, составлявшие теперь большинство, не хотели и слышать о переговорах с ним; но публика долго ждала перемены министерства, потому что

Карл X, соглашаясь с Вильелем в необходимости переменить министерство, отвергал не только либералов, не только депутатов центра, но и всех роялистских предводителей, которые в прошлой сессии действовали против Вильеля.

Наконец необходимо было решиться потому, что заседания новой палаты приближались. Душою нового кабинета был Мартиньяк, роялист, близкий по своим мнениям к Вильелю, но чуждый связям с конгрегацией и потому могший действовать умереннее. Остальные члены министерства также все были роялисты, понимавшие необходимость разорвать связи с конгрегацией, погубившей Вильеля. В каком духе начнет действовать палата, это зависело от небольшого числа членов, составлявших центр. Их голоса давали большинство левой или правой стороне; во всяком случае министерство должно было управлять в их духе.

Первым испытанием силы и взаимных отношений партий служит выбор президента палаты. По тогдашнему правилу палата выбирала пять кандидатов, одного из которых король утверждал президентом. С нетерпением ожидали, чьих кандидатов будет поддерживать центр. Большинство получили два депутата из центра и трое из левой стороны: центр вошел в союз с левой стороной. В досаде на депутатов центра король утвердил президентом одного из кандидатов левой стороны, Ройе-Коляра. Министерство увидело теперь необходимость делать многочисленные уступки центру и левой стороне, плотно соединившимся для составления большинства.

Итак, либералы пользовались теперь довольно значительным влиянием на решение палаты. В каком духе изменятся законы и администрация по требованию этой партии, которую провозглашали враждебной Бурбонам? Семь лет она подвергалась непримиримому преследованию от роялистского министерства, пользовавшегося большинством в палате и властью вовсе не по собственной силе, а только благодаря покровительству Бурбонов: быть может, она теперь покажет нерасположение к Бурбонам? Королем был теперь тот самый граф д'Артуа, который в течение целых сорока лет был из всех Бурбонов самым жесточайшим врагом либерализма: быть может, либералы подумают о стеснении власти, которой располагает их непримиримый гонитель? Читатель едва ли будет ожидать этого после тех фактов, какие представлены в нашем очерке. Либералы теперь видели, что министерство не

враждебно им. Каковы бы ни были чувства Карла X, он прежде всего помнил обязанности светского человека, талантами которого обладал в совершенстве; либералы часто являлись теперь во дворец по своим близким отношениям к министерству; король принимал их любезно. Этого было довольно, чтобы они прониклись самыми наивными надеждами. Они воображали, что король понял вред, какой принесла ему ненужная преданность его крайним роялистам; они уже думали, что король разделяет чувства французского общества и готов поддерживать новые интересы против феодальных стремлений. Заблуждение было чрезвычайно нелепо: люди не меняются, имея 65 лет от роду. Но забавные надежды либералов показывали, до какой чрезвычайной степени было сильно в них желание действовать заодно с королевской властью. Они только о том и мечтали, каким бы образом примирить Бурбонов с французской нацией и упрочить их престол.

В течение полутора года, пока либералы господствовали в палате, напрасно стали бы мы искать между решениями палаты хотя одного, сколько-нибудь ограничивающего преимущества королевской власти. Перемен было произведено много, но ни одна из них не касалась прав престола. Читатель знает, что иначе и не должно было быть. Дело шло о том, каковы будут взаимные отношения разных государственных сословий между собою, каковы будут законы о наследстве, каково будет отношение светского национального образования к иезуитскому и т. п. Во всех этих спорах королевская власть могла бы оставаться совершенно хладнокровной зрительницей; ее собственное положение могло нимало не изменяться от торжества той или другой партии. Если король участвовал в борьбе, то единственно как союзник той или другой партии, из которых и та и другая равно нуждалась в его покровительстве и готова была бы самым усердным образом служить его интересам, лишь бы только он поддерживал ее интересы. Мы возвратимся к этому предмету, а теперь повторим только, что чрезвычайно сильно должны были желать либералы союза с королевской властью, если надеялись на возможность союза даже с Карлом X, который более сорока лет был слепым орудием феодальной партии, и если при первом ослаблении его гонений отказывались от всякого воспоминания о его вражде к ним.

Правда, роялисты кричали, что либералы заставляют короля разрушать свою собственную власть, а Карл X доверчиво слушал обвинения против министров, будто бы

изменяющих интересам династии. Но какими действиями либералов и министерства возбуждались такие возгласы, лучше всего покажет нам ход прений о деле, возбудившем наибольшее неудовольствие в роялистах. Эти же самые прения представят нам новое доказательство того усердия к королевской власти, которым так хвалились роялисты.

Если мы скажем, что прения шли о распоряжении, поразившем роялистов в самое сердце, то читателю останется очень небольшой выбор между разными предположениями о предмете такого распоряжения. Читатель без ошибки может сказать, что либералы и министерство коснулись или феодальных прав светской аристократии, или господства иезуитов над французским духовенством: ничто другое не могло бы довести роялистов до крайнего ожесточения. Действительно, дело шло об иезуитах. Комиссия, назначенная палатой, открыла, что иезуиты, господствуя под разными именами над университетским правлением, отважились уже без всякого прикрытия взять в свои руки восемь семинарий, назначенных для образования приходских священников. Между тем по закону орден иезуитов был изгнан из Франции с конца XVIII века, и законы, его уничтожавшие, не были отменены: сама конгрегация, руководившая Вильелем, не отваживалась формально восстановить орден и упорно отрицала его существование во Франции. Теперь палата потребовала действительного исполнения законов, уничтожавших иезуитский орден. Министры видели необходимость исполнить это всеобщее желание французского общества, потому что никто не мог отрицать противозаконности допущения иезуитов во Францию. Министры убедили короля издать два повеления, которыми отнималось у иезуитов управление школами, открыто им отданными. Иезуиты не изгонялись из королевства, как следовало бы по закону: либералы, как видим, были очень уступчивы; они настояли только на том, чтобы преподавание не дозволялось таким лицам, которые принадлежат к какому-нибудь из орденов, не допускаемых французскими законами. Мягкость либералов простиралась до того, что даже имя иезуитов не было упомянуто в королевских повелениях: министры ограничились деликатным обозначением их под формою общей фразы об орденах, не допускаемых законом.

Мало того, королевские повеления, отнимавшие управление над школами у иезуитов, назначили в пособие духовным семинариям 1 200 000 франков; казалось бы, такой подарок достаточно свидетельствовал об отсутствии

нерасположения к духовенству в либералах. Прибавим, что министром духовных дел был назначен человек из духовного сословия. Но этот человек, аббат Фетрье, епископ Бовесский, не был иезуит, а король, хотя и со всевозможной мягкостью, решился отстранить иезуитов от преподавания. Этого было довольно для того, чтобы все роялисты подняли ожесточенный крик против личности короля и королевской власти. Роялистские газеты объявили аббата Фетрье Юлианом-отступником, а Карла X — Нероном и Диоклетианом. Епископы собрались и обнародовали декларацию, отвергавшую права королевской власти и говорившую следующим образом: «Нижеподписавшиеся епископы в тайне святилища пред лицом всемогущего судии с мудростью и незлобием по словам божественного учителя рассматривали вопрос о том, что они обязаны воздавать кесарю и что обязаны воздавать богу. Совесть отвечала им, что лучше повиноваться богу, нежели людям, когда повиновение, которым они прежде всего обязаны богу, несовместимо с повиновением, требуемым у них людьми, и по примеру апостолов они говорят: «Non possumus, не можем повиноваться»». Под этой декларацией подписались почти все французские епископы.

По-видимому, король был совершенно в своем праве, предписывая исполнить закон. Роялисты громко объявили, что не могут повиноваться королю, и решили напечатать декларацию епископов в числе ста тысяч экземпляров для раздачи во всех церквях королевства. Правительство принуждено было обратиться к папе; он объявил королевские повеления совершенно справедливыми. Тогда епископы должны были покориться по крайней мере формальным образом; но сопротивление роялистов воле короля не окончилось: с той поры одним из лозунгов роялистской партии становится непреклонная защита совершенной независимости преподавания от правительства. Наблюдение правительства за преподаванием, заговорили роялисты, нарушает свободу совести; оно нарушает конституцию; оно составляет ужасное варварство. В течение тридцати лет, прошедших с того времени, роялисты ни на минуту не прекращали ожесточенных нападений на всякую власть, мешавшую иезуитам снова овладеть светским и духовным образованием.

Феодально-иезуитская партия скоро успела снова овладеть Карлом X, и король с нетерпением смотрел на министерство, не угождавшее всем ее требованиям. Обязательство, собственно истолкованное ошибочным обра-

зом, доставило роялистам случай убедить его в том, что он вовсе не нуждается в поддержке либералов.

Осенью 1828 года Карл X вздумал присутствовать при маневрах кавалерийского корпуса, собранного близ Люневилля. Восточные департаменты наиболее проникнуты либеральным духом. Масса французского населения была тогда убеждена, что Карл оставил свое прежнее нерасположение к либералам. В самом деле, домашние сношения его с предводителями роялистов оставались придворной тайной; напротив, при всех официальных случаях король был очень любезен с либералами; пожаловал даже орден Почетного Легиона одному из главных между ними, Казимиру Перье; министерство открыто опиралось на либеральную партию в палате. Обманутые этими наружными признаками, жители восточных департаментов с энтузиазмом встречали Карла во время его поездки, приветствуя в короле мнимого покровителя либеральной партии. Непроницательный Карл X совершенно обманулся в смысле приема, какой находил повсюду; он вообразил, что радостные приветствия свидетельствуют не об удовольствии народа от либеральных мер министерства, а просто о безотчетной привязанности нации к Бурбонам. Он возвратился из путешествия с преувеличенными понятиями о своем могуществе над умами французов и через несколько времени, повинувшись внушениям роялистов, решился заменить прежних министров другими, вполне выражавшими тенденцию самых опрометчивых роялистов. 8 августа 1829 года Мартиньяк и его товарищи были уволены, и власть вручена министерству, председателем которого явился князь Полиньяк, представитель партии, неумолимо-враждебной всем новым интересам и самым жарким образом кричавшей о необходимости восстановить старинные феодальные учреждения. Роялистские газеты во всеуслышание растолковали намерения нового кабинета; Франция увидела, что Карл X безвозвратно и безусловно сделал себя исполнителем реакционных желаний роялистской партии. С этой минуты политика партий отказывается от прежних колебаний между свободой и поддержкой правительства. Либералы становятся решительными противниками, роялисты — действительно приверженцами короля, согласившегося быть слепым орудием феодальной партии. Скоро борьба из палаты депутатов переходит на улицу и кончается падением Бурбонов вместе с роялистами, увлекавшими их к гибели ради

достижения целей, не имевших никакого интереса для самой династии и полезных только для феодалов.

Здесь перед последней катастрофой мы остановимся, чтобы, бросив общий взгляд на прошедшее время, точнее объяснить себе, какими отношениями была вызвана и решена эта катастрофа.

Три силы участвовали в подготовке насильственной развязки: королевская власть, либералы и роялисты; исход борьбы, ими начатой, был решен внезапным вмешательством четвертой силы, на которую до той поры никто не обращал внимания, никто не рассчитывал, — вмешательством народа.

Мы ставим совершенно различными силами короля и роялистов; точно так же мы совершенно различаем народ от либералов. Многие сливают обе побежденные силы в одно неразрывное целое, обе победившие силы также смешивают в одном понятии. После предыдущего очерка читатель, вероятно, согласится, что династия и роялисты, действуя заодно в последнем акте реставрации, вступали между собою только в союз, зависевший от временных обстоятельств, не имевший ничего неизбежного по существенным интересам той и другой силы, совершенно различным. Факты, которые представятся нам ниже, укажут, что и союз народов с либералами был явлением только временным. Будем же строго различать один от другого эти четыре элемента и, выставив сущность каждого из них в тогдашней Франции, покажем их взаимные отношения, под влиянием которых совершились июльские дни.

Начнем с королевской власти, направление которой решило ход событий. Монархическая власть может существовать в двух формах: самодержавной и конституционной. Все факты прошедшего говорят, что неограниченная форма монархии возникала из борьбы между аристократией и демократией, опираясь на демократию. В Греции тираны были предводителями демократов и получили свою власть низвержением аристократического устройства обществ. Императоры в Риме также вышли из предводителей демократической партии. То же было во всех новых государствах Западной Европы. Особенно резко выражается это в истории Франции. Вся сила королей была приобретена борьбой против феодалов, в которой короли опирались на массу народа. Людовик XI и Ришелье, наиболее содействовавшие утверждению самодержавия во Франции, оба ненавидели аристократов не меньше, чем Робеспьер, и казнили их с такой же беспощадностью. Сам

Людовик XIV, пока еще сохранял умственные силы, держал аристократов под очень суровым ярмом. Подобное явление продолжается до сих пор в тех государствах Западной Европы, где сохраняется монархия свободной от конституции. Австрия победила конституционные стремления только тем, что в 1848—1849 годах была поддержана демократическими славянами своих восточных областей против аристократических венгров, составлявших главную силу конституционной партии. Этот факт очень знаменателен. Сербь, кроаты, словаки были демократами вдвойне: и по внутреннему своему устройству, и по своему отношению к венграм. У них нет в самых их племенах аристократического элемента; с тем вместе все их племена в общей массе были подчинены венгерскому племени, как будто низшее сословие высшему. Точно так же и венгры были вдвойне аристократами: внутри их племени владычествовали аристократические учреждения и предания, а все племя в целом составляло аристократию венгерского королевства среди подчиненных славянских племен. Таких фактов, когда абсолютизм австрийский торжествовал над своими внутренними врагами только силою низших сословий, бесчисленное множество в его истории. Припомним еще только два случая. Когда галицийские аристократы стали страшны, Вена дала некоторый простор русинскому простонародью, и радикальное движение 1846 года возвратило ей абсолютную власть над Галицией. Через два года Кудлич на венском сейме отвергал всякое примирение своего сословия с тем классом, который всего сильнее поддерживал конституционное стремление. С другой стороны, история конституционных правительств показывает, что они держались преимущественно силою аристократии. Классический пример тому представляет Англия. В самом деле, логическая необходимость приводит к восстанию против неограниченной формы сословие богатых и могущественных фамилий. Они находят обеспечение своей громадной собственности и своему личному достоинству только тогда, когда достигают независимого управления государственными делами. Неограниченная власть монарха представляется для них силой, которая может лишить каждую фамилию ее богатств, может изменить и общественное положение всего их сословия. При этом же неограниченная монархия всегда управляла государством посредством бюрократии, подрывающей все основы аристократического устройства.

Таким образом, если бы Бурбоны во время реставрации заботились о выгодах своей власти, они нашли бы самым выгодным для себя делом поддерживать народ против аристократии. Это стремление возвысило бы их над обеими боровавшимися партиями, которые обе были ограничены узким кругом аристократических понятий. Доказывать аристократизм роялистов нет нужды. Но должно привести хотя два-три факта, которые показали бы ту же тенденцию и в либерализме времен реставрации. Первым и самым ясным признаком аристократических тенденций может служить симпатия либералов к английскому устройству, в котором и до сих пор преобладает, а тогда исключительно властвовала аристократия. Знаменитейшими учителями либералов были Монтескьё и Бенжамен Констан. «Дух законов» Монтескьё, служивший настольной книгой для либералов, с первой строки до последней внушен безграничным удивлением к английскому государственному устройству¹⁴. Бенжамен Констан, преемник Монтескьё в деле теоретического образования либеральной партии, также почти все свои мысли заимствовал у англичан. Даже второстепенные наставники либералов, как, например, Ройе-Коляр, были все проникнуты тем же духом, которого и до сих пор держатся представители французской либеральной партии в строгом смысле слова от Ремюза и Дювержье де-Горанна до Гизо. Иначе быть не могло уже по одному общественному положению либералов. Масса этой партии состояла из людей богатых или по крайней мере очень зажиточных. Они были совершенно довольны прежним (1817—1820 гг.) избирательным цензом в 300 франков прямых податей; при таком цензе большинство людей их партии уже делалось избирателями, а этот ценз предполагает капитал не менее 60 000 франков. Либеральные газеты очень часто прямым образом высказывали свое отвращение от мысли опираться на низшие классы. Приведем один пример из того времени, когда уже предвиделась близость решительной битвы, когда либералы старались собрать все свои силы и дорожили каждым союзником: даже и в то время они резко отвергали призыв народа к участию в политических делах. За два или за три дня до объявления войны знаменитыми июльскими повелениями¹⁵ один из роялистских журналов, смеясь над стремлением либералов доставить власть торговому сословию, говорил: «Либералы не хотят ни владычества солдат, ни владычества мужиков; они хотят владычества купцов. Но чем же мужики хуже купцов? Пусть либералы

подумают, что против купцов можно поставить мужиков». Угроза была, конечно, далека от исполнения; роялисты, уверенные в своих силах, не имели еще серьезной мысли обратиться за помощью к поселянам; но в их журналах уже довольно часто являлись тогда намеки о возможности подобной политики. Они уже говорили, что если либералы недовольны тогдашним (1820—1830 гг.) избирательным цензом в 1 000 франков, то можно вместо понижения ценза совершенно отменить его и предоставить право голоса каждому французу, без различия состояния. Таким образом уже намекалось на политику, следовать которой начали роялисты после 1830 года, когда их лозунгом сделался *suffrage universel*. Теперь, пока угроза не была еще серьезна, либералы могли бы оставить ее без ответа, если бы сколько-нибудь колебались обнаружить свои чувства к низшим сословиям. Но они никогда не хотели пользоваться содействием простонародья и потому, не колеблясь, приняли вызов роялистов высказаться об этом предмете. Вот что отвечал роялистам «National», бывший тогда представителем крайнего либерализма между большими газетами: «Газета, совершенно сочувствующая министерству, говорит нам: «Не хотят ли штыков, ни деревянных башмаков, хотя торговых свидетельств. Чем же торговые свидетельства лучше деревянных башмаков? Советуем подумать об этом». Эта черта еще лучше истории оратора угольщика (об этой истории мы должны будем упомянуть после) характеризует отчаянное положение наших реакционеров. Они стали в противоречие с общественным мнением страны, не могут жить в согласии ни с палатами, законными представительницами страны, ни с газетами, столь же законными ее представительницами, ни с независимыми судебными властями, подчиненными одному закону; разумеется, после этого нужно им искать нацию вне той нации, которая читает газеты, которая интересуется прениями палат, которая располагает капиталами, управляет промышленностью и владеет землей; им надобно спуститься до низших слоев населения, где уже не встречается общественного мнения, где едва ли находится какой-нибудь политический смысл, где копошатся тысячи существ, добрых, прямых, простодушных, но легко обманываемых и ожесточаемых, живущих со дня на день, проводящих каждый час своей жизни в борьбе с нуждой, не имеющих ни времени, ни физического и умственного отдыха, необходимого, чтобы хотя иногда подумать о политических делах. Вот нация, которою окружить престол

хотели бы некоторые из наших реакционеров. В самом деле, кто отвергает законы, тот должен броситься в объятия черни». Такой язык был обычным у либералов, когда заходила речь о простом народе. Он достаточно свидетельствует, похожи ли были сколько-нибудь либералы на демагогов. Отношение между ними и роялистами было таково же, как между вигами и тори в Англии. Обе враждовавшие партии отвращались не только демагогии, но и всякого демократизма; разница между ними была лишь в том, что одна партия была более исключительна в своем аристократизме, чем другая; одна хотела исключительной аристократии богатых землевладельцев из старинных фамилий, как тори в Англии; другая, подобно вигам, опиралась на промышленные интересы и, понимая невозможность аристократии в смысле XVII века, расширяла круг этого понятия на все сословие, пользующееся фактическим перевесом в народной жизни. Одна партия хотела вернуть власть над народом сословию, некогда господствовавшему, но утратившему свою силу вследствие революции; другая хотела сохранить преобладание настоящих властелинов общественной жизни; но та и другая одинаково хотела подчинения народа немногочисленному сословию.

При таких обстоятельствах какой путь был самым выгодным для королевской власти? На какую из трех существовавших во Франции сил должна она была опираться: на массу народа, на либералов или роялистов? Здравый смысл указывал на союз с народом, как на самую выгодную политику. Народ в то время еще не думал о политических правах; забота о его материальном благосостоянии была бы совершенно достаточной приманкой для приобретения его преданности Бурбонам. Если Бурбонам были противны конституция и свобода книгопечатания, они только в народе нашли бы союзника, не требовавшего этих вещей. Не имея ни в роялистах, ни в либералах покровителей себе, оставаясь совершенно беспомощным, народ очень дешево продал бы свой союз. Чтобы купить его любовь, довольно было одной той политики, которой следует каждое дельное правительство и в самодержавных, и в конституционных, и в республиканских государствах, довольно было заботы о возвышении благосостояния в низших классах, от которого, как известно, зависят и увеличение государственных доходов, и внешнее могущество государства. Требуя наименее пожертвований, союз династии с народом приносил и наиболее выгод. В ежед-

невных мелких делах правительственной жизни влияние народа чувствуется мало. Не только в самодержавных государствах, но и в Англии и в Соединенных Штатах правительство может издавать множество законов и распоряжений, независимо от народного желания или участия, встречая одобрение или осуждение только в партиях высшего и среднего сословий. Но какова бы ни была государственная политика, она всегда, удовлетворяя одной части этих сословий, возбуждает неудовольствие в другой, по неизбежной противоположности различных общественных интересов и теорий. Таким образом политическая жизнь всегда является тяжбой некоторой части образованных сословий против другой части тех же сословий и против правительства, проводящего интересы этой части. Известно, что тяжба оканчивается в первой инстанции только тогда, когда предмет ее ничтожен: когда же проигрыш одной стороны и выигрыш другой значителен, за решением первой инстанции неизбежно следует апелляция как в частном, так и в государственном процессе. Пока недовольная политикой правительства часть образованных сословий не видит никаких важных мер или не убедилась в непреклонности направления со стороны другой части, пользующейся силою правительства, процесс остается, так сказать, в первой инстанции, ограничиваясь словами и бумагой. Но неизбежно идет это дело к дальнейшему развитию, при котором первоначальные средства ведения тяжбы представляются для проигрывающих уже неудовлетворительными, и должна быть призвана в помощь высшая сила. В государственном процессе после первой инстанции, после слова и бумаги этой высшей инстанцией представляется фактическое, физическое могущество, лежащее во всей целости населения. Таким образом коренное основание всех государственных отношений заключается в расположении населения, как при частных отношениях оно заключается в законе. Я, частный человек, удерживаю свои права только тем, что при всяком важном столкновении указываю на закон. В государственном процессе ту же роль играет население, и в сущности все основано на предполагаемой вероятности образа его действия в пользу той или другой стороны.

Таким образом и Бурбоны могли оставаться совершенно спокойными за свою власть, если бы надеялись, что сила, на апелляцию к которой переносится дело, объявит себя в их пользу при случае апелляции. Если бы население было за них, они могли <бы> с равнодушной улыбкой

смотреть на борьбу парламентских партий, пока им хотелось смотреть на нее, и могли бы легко сокрушить ту или другую партию или и обе партии разом, когда бы им то вздумалось; но к своему несчастью они вовсе не думали сделаться покровителями народных интересов. Чем объяснить эту гибельную ошибку? Как могли они лишиться себя союза, возможного за столь дешевую цену и ограждавшего их от всяких опасностей? На этот вопрос само собою найдется ответ после, когда рассмотрим отношения и интересы двух других общественных сил, либерализма и роялизма, а теперь, занимаясь соображением о том, какие союзы наиболее выгодны были для королевской власти, мы должны поочередно рассмотреть отношения интересов ее к двум другим силам тогдашней Франции, к роялизму и либерализму.

Отвергнув наивыгоднейший для себя союз, оставив народ в пренебрежении, династия могла еще избирать между двумя партиями, на которые разделялись средний и высший классы. Содействие той и другой партии одинаково не могло быть приобретено иначе как подчинением правительства конституционному порядку. Относительно либералов, вообще известных за приверженцев конституции, неизбежность этой уступки не нуждается в доказательствах; нам кажется, что читатель видел ту же самую необходимость относительно роялистской партии, которая обманывала многих своим именем, говорящим о какой-то особенной преданности престолу.

Мы говорили о вражде роялистов к тем королям, которые не поддавались безусловно их требованиям, говорили, что они интриговали для отнятия жизни у Людовика XVI, преследовали Людовика XVIII, что задушевной их мыслью было заставить его отказаться от престола. Во все те периоды, когда роялисты не располагали безусловно правительственной властью (при министерствах Ришелье, Дюкаса и Мартиньяка), они энергически требовали уменьшения правительственных прав. Когда же они располагали правительственной властью (при министерстве Виллеля), они пользовались ею исключительно для доставления денежного и политического могущества прежним феодальным классам, но не издали ни одного закона, которым увеличивались бы права короля. Избирательный ценз в 1 000 франков, восстановление майоратств, выдача миллиарда франков эмигрантам — все эти меры были выгодны

исключительно только старинным аристократическим фамилиям, не имея ровно никакой связи с интересами королевской власти. Наконец, когда роялисты склонили Карла X на издание знаменитых июльских повелений, они опять имели в виду только выгоды феодальной партии, и перемены, вводимые этой экстренной мерой в устройстве Франции, не приносили никакой выгоды королевской власти. Одно из этих повелений изменяло способ выборов в палату депутатов так, чтобы богатые землевладельцы без всяких соперников посылали в палату своих партизанов. Палата состояла бы исключительно из роялистов — для них, разумеется, это было очень приятно. Но что выигрывала королевская власть? Изменялись ли отношения палаты к ней? Сущность конституционного правления состоит в том, что король ничего не может делать без согласия министров, а министрами назначаются те люди, которых желает большинство палаты, низвергающее их, как скоро становится недовольно ими, — изменялся ли сколько-нибудь этот порядок? Ограничивалось ли влияние палаты депутатов на министерство, от имени короля управляющее государством сообразно воле не короля, а палаты? Нимало. Палата продолжала быть источником и властителем правительства, король по-прежнему оставался в зависимости от ее желаний. Другое повеление восстанавливало цензуру для газет и ставило их в совершенную зависимость от министерства. Тут опять очевидно выигрывали роялисты: первое повеление отдавало в их руки палату депутатов и министерство, потому они через министерство владычествовали бы над газетами. Не приобретая власти над министерством, король не приобретал ничего через расширение министерского господства над газетами. Не служа к увеличению его власти, цензура с тем вместе вовсе и не нужна была для ограждения его прав или его личного достоинства: газеты и без цензуры не могли и не имели охоты восставать против его личности и его прав. Не могли, потому что он был огражден от их нападений особыми законами, существовавшими прежде. Не имели охоты, потому что полемика в газетах, подобно прениям в палатах, относилась вовсе не к лицу или правам короля — он был выше прений и полемики, — а только к министерству, налагаемому на короля не его волею, а волею палаты депутатов, и к мнениям партий, которые, повторяем, спорили между собою вовсе не об интересах короля, а о своих собственных интересах, не имевших никакой связи с ин-

тересами династии. Королю цензура была не нужна, и ее восстановление не увеличивало его прав. Прочитав июльские повеления, погубившие Бурбоны, каждый убедится, что король не мог для себя извлечь из них никакой выгоды и что роялисты, заставляя его делать опасную для престола попытку, имели в виду единственно свою пользу. Вообще, как мы сказали, если залогом союза короля с либералами могло быть только конституционное устройство, то роялисты никогда не думали уступать большей ему власти: они были в этом отношении требовательны никак не менее либералов.

Напротив, они были более требовательны. Союзник вообще показывает себя тем уступчивее, чем более убежден, что наше доброе расположение к нему зависело совершенно от нашей воли; он тем менее ценит нашу дружбу, чем сильнее убежден, что мы не можем сблизиться с его врагами, как бы ни держал он себя относительно нас. Роялисты были уверены, что Бурбоны никак не вздумают серьезно отказаться от покровительства, то есть в сущности от служения их партии; они считали себя имеющими как бы прирожденное право на королевское благорасположение, потому очень равнодушно принимали все, что делали для них Бурбоны, и чрезвычайно обидчиво сердились на династию за малейшее невнимание к их желаниям. Они воображали себя как будто благодетелями Бурбонов, смотрели на них, будто на своих неоплатных должников, обязанных быть предупредительными, любезными до подобострастия к их партии вообще и к каждому из них в особенности. Совсем иное было положение либералов. Они видели, что Бурбоны имеют гораздо больше склонности к роялистам, нежели к ним, потому принимали за чрезвычайную уступку, за достойное самой высшей благодарности самоотречение каждую малейшую — хотя бы даже только видимую — снисходительность Бурбонов к либеральной партии. Роялисты держали себя в Тюильри домашними людьми, очень бесцеремонными товарищами хозяина, с которым шепетливо считались каждым скольконибудь неприятным для них словом. Но стоило королю сказать при каком-нибудь официальном приеме хотя одно мягкое слово либералу, и вся либеральная партия приходила в восторг. Давая королю медные гроши, роялисты требовали взамен золотых монет; либералы готовы были безвозмездно принести в жертву и себя и все свои богат-

ства, лишь бы только он согласился принять их *. Конечно, либералы жаловались на Бурбонов, но их жалобы имели тон отвергаемой дружбы. Либералы желали не падения Бурбонов, а только обращения их к либерализму для их собственной выгоды. До такой степени чуждалась либеральная партия мыслей, враждебных интересам династии, что не хотела верить падению Бурбонов даже тогда, когда оно было уже решено битвою на парижских улицах, и если в ком еще остается сомнение об искренней преданности либералов Бурбонам, последние остатки недоверия будут рассеяны рассказом о том, как держали себя либералы в продолжение переворота, против желания либеральной партии произведенного парижским населением.

Союз с либералами должен был бы казаться Бурбонам приятнее дружбы с роялистами, потому что либералы были меньше требовательны, нежели роялисты. С тем вместе он был бы и гораздо важнее для прочности династии. Конечно, ни роялисты, ни либералы не составляли массу населения во Франции; мы уже говорили много раз, что если бы династия опиралась на народ, она могла бы господствовать над обеими партиями, из которых каждая оставалась бы в таком случае гораздо слабее династии. Но мы также говорили, что династия не озаботилась привлечь к себе массу населения заботами о ее выгодах, и народ, никем не призываемый к участию в делах, не налагал еще

* Нет надобности напоминать читателю, что мы говорим о массе либеральной партии, о собственно так называемых либералах. Из 221 либералов, вотировавших знаменитый адрес 1829 года (о котором будем говорить ниже), было пять или шесть человек, имевших другие чувства, но эти люди исчезали в массе, на которую вовсе не имели влияния. Орлеанская партия до 1830 года не смела и думать о близком исполнении своих желаний и была чрезвычайно малочисленна, — к Лафиту примкнуло несколько депутатов только уже вследствие июльских событий, да и то по невозможности найти иное спасение своим монархическим убеждениям, кроме возведения на престол принца Орлеанского. Республиканцев до 1830 года было во всей Франции всего несколько человек, да и те даже среди июльского торжества инсургентов не считали возможным учуждение республики во Франции, — республика представлялась для них отвлеченным и дальним идеалом вроде того, как какому-нибудь китайцу ныне может представляться обращение Китая в европейское государство, чего, конечно, ни один рассудительный человек в Китае не может ожидать видеть при своей жизни. Надобно строго различать теоретические убеждения от стремлений, питаемых человеком относительно практической жизни настоящего времени, определяемых надеждою на возможность. Теоретически каждый из нас скажет, что лучше было каждому без исключения русскому молодому поколению учиться в университете, — на практике мы восхищались бы уже и тем, если бы найдена была возможность хотя одному из десяти наших молодых соотечественников кончать курс в уездном училище.

свою тяжелую руку ни на одну из двух чашек весов политического могущества. На политической арене были только либералы и роялисты. Которая же из двух партий сильнее? В этом не могло быть никакого сомнения. В руках либералов была вся торговля, вся промышленность Франции, они властвовали на бирже; они располагали кредитом. От Лафита, богатейшего банкира тогдашней Франции, до последнего лавочника или хозяина какой-нибудь маленькой мастерской все буржуа были проникнуты либерализмом. На стороне роялистов была только большая поземельная собственность; но если каждый роялистский землевладелец в отдельности был богаче либерала-землевладельца, владевшего имением средней величины, то массе либералов даже и из поземельной собственности принадлежала часть более значительная, нежели массе роялистов, потому что при раздробленности имений вследствие революционных продаж участки средней величины занимали более значительное пространство территории, нежели огромные поместья, уцелевшие от феодальных времен.

Сами по себе либералы были сильнее роялистов; но еще гораздо выгоднее был для династии союз с ними потому, что он обеспечивал бы их от всякой опасности со стороны массы населения. Это соображение было так просто, что не могло бы ускользнуть ни от одного из друзей династии, если бы они хотя сколько-нибудь знали чувства народа. К сожалению, из людей, близких к Бурбонам, не было ни одного, знающего народ, а были очень многие без всякого понятия о чувствах народа, питавшие к нему недоверие и передавшие это недоверие Бурбонам. По странному сочетанию противоречащих идей в одной и той же голове, сочетанию, которое так часто встречается в жизни, эти люди и сами Бурбоны, не заботясь об удовлетворении народных желаний и нужд, не заботясь даже о том, чтобы хотя сколько-нибудь ознакомиться с ними, питая ужас к каждому движению народа, лелеяли себя уверенностью, что и без всяких посредничеств масса населения проникнута непоколебимой преданностью к Бурбонам.

Мы видели, какой политики требовали со стороны Бурбонов их собственные выгоды и как не нужен, как противен истинному положению их интересов был их союз с роялистами; чтобы еще яснее убедиться в этом, нам должно теперь посмотреть на взаимные отношения общественных сил, спустившись на низшую ступень общественной лестницы, которую мы обозревали с верши-

ны ее. Изложив интересы королевской династии, мы теперь попробуем изложить чувства и интересы массы населения.

Она, как мы говорили, не принадлежала собственно ни к роялистам, ни к либералам. Необходимость слишком тяжелого и продолжительного физического труда для скудного поддержания жизни не оставляла ей в период реставрации во Франции, как до сих пор не оставляла нигде и никогда в новой Европе, времени для постоянного занятия государственными делами. Не имея ни навыка к тому, ни образования, нужного для того, чтобы составить себе систему политических убеждений, народ обыкновенно даже не хотел присматриваться к вещам, которые делаются и говорятя высоко над ним в парламенте, в журналистике и в административных сферах. Но эта масса, обыкновенно остающаяся неподвижной в политическом волнении, играющем на поверхности национальной жизни, не лишена совсем преданий и чувств, которые приводят ее в движение, когда затрагиваются.

Во французском народе самым живым преданием было воспоминание о национальной славе, какой блистала Франция при Наполеоне. Под этим воспоминанием таилось еще более сильное чувство привязанности к новому гражданскому устройству и ненависти к старинным феодальным правам, разрушенным революцией. Народ дорожил новыми учреждениями потому, что они улучшили его материальное положение сравнительно с той судьбой, какую имел он в прежние времена. Но, с другой стороны, улучшение, хотя и очень чувствительное, не было так велико, чтобы масса народа была очень довольна своим настоящим.

По сущности своих понятий народ не имел сознательного предпочтения к той или другой политической системе. Конституцию, или, как тогда называли, «Хартию» (*la Charte*), он едва знал по имени, не связывая никакого смысла с этим словом. Да и самое слово далеко не каждому городскому работнику было известно, — о поселянах нечего и говорить; о том, что он нимало не дорожил этим словом, излишне и упоминать.

Королевская власть, говорили мы, очень легко могла привлечь народ на свою сторону покровительством его материальному благосостоянию; но она не позаботилась об этом. Однакоже, когда король являлся в провинциях или присутствовал на торжественных церемониях в Париже, толпы народа теснились на дороге и приветствовали его

радостными криками. Это происходило не более, как от наивного уважения простых людей к внешнему блеску, но перетолковывалось придворными как свидетельство глубокой привязанности народа к династии. Такое ошибочное понимание дела погубило Бурбонов, ободрив Карла X рискнуть на решительную битву изданием июльских повелений. Но во всяком случае хорошие встречи, какими обыкновенно приветствовал народ короля, доказывали, что масса народа даже в начале 1830 года еще не была решительно враждебна к Бурбонам.

Напротив, она была всегда враждебна к роялистам, не потому, чтобы считала их врагами конституции, о которой сама она не заботилась, а потому, что они были эмигранты, потомки прежних феодалов; народ предполагал в них желание восстановить старинное феодальное устройство, вспоминал, что они сражались против Франции.

Тем самым, что боролись против роялистов, либералы приобретали в народе некоторую популярность, хотя очень мало заслуживали ее. Надобно перечитать прения палат, надобно перечитать сочинения либералов времен Реставрации, чтобы постичь всю невероятную беззаботность их о выгодах массы населения. Они забывали о народе, подобно Бурбонам и роялистам; а когда и случалось им говорить от имени низших классов, они почти постоянно употребляли его имя понапрасну, не умея выразить желаний, понять нужд простонародья. В программе либералов не было ни одной фразы, которая касалась бы средств или по крайней мере выражала бы желание улучшить положение низших классов. Доказательством тому может служить каждое из их знаменитых прений в палате депутатов, каждая из их знаменитых битв на поприще журналистики, каждый их политический манифест. Повсюду провозглашаются отвлеченные политические теории, имеющие занимательность только для зажиточных и образованных людей, нигде ни одной фразы о реформах, которыми непосредственно улучшался бы простонародный быт. В пример сошлемся на один из этих актов, могущий быть самым поразительным подтверждением нашего суждения. Когда войска были принуждены выступить из Парижа, когда либералы спешили восстановить королевскую власть перенесением ее на герцога Орлеанского, чтобы не дать времени возникнуть в вооруженной массе простонародья требованию республиканской формы, либеральные члены палаты депутатов издали прокламацию, в которой совместили все надежды и желания, способные, по их мне-

нию, увлечь победоносных парижан на сторону вновь учреждаемого правительства. Парижское простонародье безусловно властвовало тогда над судьбой Парижа и Франции, — либеральные депутаты, конечно, в эту минуту старались по необходимости самым ярким образом высказать все, что в их намерениях могло быть приятно простонародью. Каков же план их правительственной системы? Какие улучшения они обещают народу? Обещаний очень много, и они вот какого рода: верность конституционным началам; восстановление национальной гвардии, избирающей своих офицеров, — она будет охранять конституцию; назначение городских и областных чиновников по выбору; суд присяжных по обвинениям против газет со стороны правительства; точное определение ответственности министров перед палатой депутатов; отмена произвола правительства над судьбою офицеров; ограничение средств для министра к подкупу депутатов повиновением в должностях.

Как? Только-то? Да, только. Для неверящих мы сообщим самый текст прокламации, — пусть они увидят, что мы не пропустили ни одного обещания *. Какую же выгоду получил бы народ, если бы даже все эти обещания были исполнены? Разберем их пункт за пунктом. «При герцоге Орлеанском будет строго соблюдаться конституция» —

* Вот текст прокламации к народу, изданной палатой депутатов 31 июля:

«Французы, Франция свободна. Деспотизм поднимал свое знамя. Героическое население Парижа низвергло его. Вызванный нападением на битву, Париж доставил своим оружием торжество священному делу, которое тщетно торжествовало на выборах. Власть, отнимавшая наши права, возмущавшая наше спокойствие, угрожала и свободе, и порядку. Мы снова приобретаем и порядок, и спокойствие. Нет уже опасности для прав, приобретенных прежде; нет уже преграды между нами и правами, которые еще остается нам приобрести.

Правительство, которое немедленно обеспечило бы нам эти блага, составляет первую потребность отечества. Французы, те из ваших депутатов, которые находятся в Париже, собрались и в ожидании правильного действия палат пригласили француза, который сражался только за Францию, а не против нее, герцога Орлеанского, к принятию на себя обязанностей наместника королевства. Они видят в этом средство водворением мира довершить торжество справедливейшего самодержавия.

Герцог Орлеанский предан национальному и конституционному интересу. Он всегда защищал его дело и исповедывал его принципы. Он будет уважать наши права, потому что получит от нас свои права. Мы дадим себе законами прочные гарантии, необходимые для утверждения непоколебимой свободы:

Восстановление национальной гвардии с участием граждан, ее составляющих, в избрании ее офицеров;

очень приятно будет это образованным классам, обеспеченным в своем существовании; но мы уже много раз говорили, что все конституционные приятности имеют очень мало цены для человека, не имеющего ни физических средств, ни умственного развития для этих десертов политического рода.

Участие граждан в составлении муниципального и департаментского управления;

Суд присяжных для процессов газет и книг;

Законное определение ответственности министров и второстепенных агентов управления;

Законное упрочение положения военных;

Новые выборы для депутатов, получивших должность от правительства.

По согласию с главою государства мы дадим нашим учреждениям развитие, в котором они нуждаются.

Французы, герцог Орлеанский сам уже высказался языком, приличным свободной стране. Он говорит, что палаты соберутся немедленно. Они примут меры для упрочения царства законов и ограждения прав нации.

Конституция отныне будет истиною».

Мы привели этот документ между прочим и потому, что он написан Гизо и был первым актом нового периода его политической жизни, когда он является уже одним из важнейших государственных людей Франции.

В комиссии, назначенной для составления прокламации, кроме Гизо и Вильмена, представителей умеренного оттенка либеральной партии, находились Бенжамен-Констан и Берар, принадлежавшие к самым требовательным либералам. Таким образом, прокламация, вышедшая из совещаний комиссии, может считаться самым верным выражением политической программы целой либеральной партии.

Прокламацию герцога Орлеанского, на которую ссылается прокламация депутатов, по-настоящему не стоило бы и приводить, потому что в ней не заключается ничего, кроме общих фраз с неосновательной похвалой герцога самому себе за мужество, которого он не оказывал. Однако приведем и ее, чтобы читатель видел совершенную пустоту этого документа, также решавшего судьбу Франции.

«Жители Парижа!

Депутаты Франции, ныне собравшиеся в Париже, выразили желание, чтобы я прибыл в столицу для исполнения обязанностей наместника королевства.

Не колеблясь, явился я разделять ваши опасности, стал среди героического населения, чтобы употребить все мои силы для предотвращения междоусобной войны и анархии. Вступая в Париж, я с гордостью надел славную трехцветную кокарду, которую восстановили вы и которую долго носил сам я.

Палаты скоро соберутся; они примут меры для упрочения царства законов и ограждения прав нации.

Конституция отныне будет истиною.

Людовик-Филипп Орлеанский».

Мы приведем также программу самой крайней из партий, игравших заметную роль в июльские дни. Составители этой программы, которая осталась недействительной, потому что показалась всем благоразумным людям слишком уже отважной, были не просто либералы, а республи-

«Будет восстановлена национальная гвардия» — в скобках надобно читать: с довольно дорогим мундиром, который удалит от участия в ней простолюдина, — это будет удоволь-

канцы, то есть горсть людей, ушедших неизмеримо далеко вперед от либералов. Но что же и эта программа обещала собственно для народа? Ровно ничего дельного не обещала она, — вот ее текст, слишком оправдывающий наше грустное суждение:

«Франция свободна.

Она хочет конституции.

Она дает временному правительству только право призвать ее к установлению формы правления.

В ожидании того, пока она выразит свою волю новыми выборами, уважение к следующим принципам:

Отменение монархической власти;

Управление государства исключительно людьми, получающими власть от избрания нации;

Вручение исполнительной власти президенту, избираемому на время;

Прямое или косвенное участие всех граждан в избрании депутатов;

Свобода исповеданий; отмена привилегий, даваемых государством одному исповеданию перед всеми другими;

Ограждение армейских и флотских офицеров от произвольного удаления министрами в отставку;

Учреждение национальной гвардии по всему пространству Франции; этой гвардии ввернется охранение конституции;

За эти принципы мы жертвовали жизнью; в случае нужды мы будем поддерживать их законным сопротивлением с оружием в руках».

Как видим, эта программа отличается от прокламации депутатов тремя существенными пунктами: требованием республиканской формы, требованием уничтожения палаты наследственных пэров (оно заключается в выражении: управление государства исключительно людьми, получающими власть от избрания нации), наконец требованием предоставления избирательных прав всему населению Франции (*Suffrage universel*), а не одним более или менее зажиточным людям.

Спрашиваем теперь: какое из этих требований имеет целью существенное улучшение простонародного быта? Чем легче простому народу становится платеж податей, отправление военной повинности, чем улучшаются его отношения к землевладельцам и хозяевам фабрик от замены слова «король» словом «президент» и тому подобных чисто отвлеченных реформ государственного устройства?

Позднее программа республиканцев была не такова. Они трубили не об одних пустых словах, имеющих смысл для праздных политических споров, — они требовали также: уничтожения обременительных для простонародья налогов на соль, вино и другие жизненные потребности, вообще изменения системы податей для облегчения простонародья; уменьшения армии и изменения системы конскрипции (сокращение срока службы, отмена увольнений от личной службы поставкою наемщика и проч.); они требовали реформы гражданских законов, невыгодных для простолюдия; требовали, чтобы образование сделалось доступным для всех состояний. Надобно, впрочем, прибавить, что все эти требования в 1848 году оказались пустыми словами, — республиканцы не умели совершить ни одной из реформ, обещавших улучшение народного быта по их программе.

ствие, предоставленное людям, могущим тратить деньги на маскарадные костюмы. Но хотя бы и без дорогого мундира — что за радость ходить в караул и на смотры человеку, у которого недостает времени для отдыха после 14 часов работы в сутки? Это право напоминает рассказ старика у г. Печерского о том, как Ваське дали «особенные права». «Выборная администрация» — известно, как дорожит простонародье правом выборов. «Изъятие газет от произвола министров» — но простонародье не читает газет по своему безденежью и безграмотности, какое ему дело до независимости журналистики и свободы прений? «Ограждение офицеров от такого же произвола» — об этом нечего говорить. Затем следует ограждение непреклонных убеждений либеральных депутатов от искушения быть подкупленными, и перечисление всех этих благ кончается комплиментами принцу Орлеанскому, — о народе и его судьбе, как видим, действительно нет ни слова. Как нет? Мы позабыли: ведь прокламация начинается комплиментами мужеству парижан, — либералам, как видим, не была известна русская поговорка: «соловья баснями не кормят»; это бы еще ничего, но жаль, что и народ не знал этой поговорки, — иначе с какой стати было бы ему умирать на баррикадах, когда вся награда ему за битву должна была ограничиться комплиментами его мужеству?

Либералы совершенно ничего не делали и не хотели делать для народа; но тем не менее независимо от их собственной воли образовались отношения, которые в случае надобности обеспечивали им содействие народа, — мы старались показать, что эта готовность массы стать за либералов была ими не заслужена, далее мы увидим, что они даже не умели предчувствовать ее, но она существовала.

Самым сильным и самым общим основанием ее было то, что либералы боролись против партии, подозреваемой народом в стремлении восстановить прежний порядок дел и за то ненавистной народу. «Враг наших врагов — друг нам» — это заключение слишком часто ведет к самым горьким разочарованиям; очень часто случается людям, руководясь им, попадать из Сциллы в Харибду, или по русской поговорке — «из огня в полымя»; но тем не менее редко успевают беречь себя от него даже такие опытные в политических делах, такие осторожные и недоверчивые люди, как дипломаты. Что же удивительного, если простой народ мало-помалу поддался этой мысли? Феодалы напали на новые учреждения, дорогие народу; либералы за-

щищали эти учреждения, — чего же больше? Масса стала доверчива к ним. Правда, защищались эти учреждения либералами вовсе не в том духе, не с теми целями, с какими вводились; смысл одних и тех же слов не был в 1820-тых годах таков, каков был тридцать, сорок лет тому назад. Но где же было народу разбирать такие тонкости? Не у него одного, и у большинства людей образованных сильнейший элемент в умственной жизни — рутина; народ привык любить известные слова и не мог не иметь симпатии к защищавшим эти слова.

Кроме этого общего основания, было другое, более частное, но во многом с ним сходное и почти столь же сильное. Нападая на новые учреждения, реакционеры позорили и все правительства, существовавшие на этих началах, в том числе они беспощадно бранили Наполеона. Либералы сами были не очень расположены к Наполеону — и в 1814 и в 1815 годах оба раза их нерасположение сильно содействовало падению его. Но роялисты заходили в своей ненависти уже слишком далеко, — либералы, разгорячаемые постоянным спором с ними о всем на свете, принялись пылко защищать и Наполеона. А для народа Наполеон и трехцветное знамя империи были символами славы Франции, побед ее. Либералы явились народу защитниками национальной славы. Это было тем неизбежнее, что роялисты с принцем Конде сражались в рядах коалиционных армий против Франции — как же было либералам не нападать на измену родине, когда изменниками были их враги?

Наконец очень важную роль во всем деле, кончившемся июльскими днями, играл Беранже. Едва ли кто имел такое сильное влияние на исход тогдашних событий, как он. Его песни действительно были любимы народом. Он ненавидел Бурбонов, и народ постепенно привыкал к чувству, которое внушал ему певец его лишений, его надежд. А Беранже ненавидел Бурбонов за то, что они были орудием реакционеров.

Наши рассуждения вышли очень длинные, и нам пора было бы их кончить. Но прежде, чем возвратимся к рассказу о ходе событий, мы хотим оправдаться перед читателем в упреке, которого не только ожидаем, но даже желали бы. Вероятно, не за одну длинноту упрекнут наше длинное изложение возможного и разумного, — читатель скажет также, что оно лишено всякого реального основания. Мы говорим, что легче и выгоднее всего был бы для Бурбонов союз прямо с народом мимо всяких союзов с ли-

берилами или роялистами, но что когда уже не захотели Бурбоны этого союза, натуральнее всего было бы им, если бы только они понимали свои выгоды, соединиться с либералами; что все разумные соображения о собственных интересах, о собственном спокойствии, не говоря уже о славе, должны были сделать Бурбонов покровителями либералов. Все это так, скажет читатель, но рассуждать о подобных вещах — значит то же самое, что доказывать выгодность течения Волги с юго-востока на северо-запад, от Камышина к городу Либаве: вещь оно была бы прекрасная, слова нет, но совершенно несообразная с законами природы. Бурбоны по своей истории, по своей натуре, по всей своей обстановке не могли действовать иначе, нежели как действовали. Так, к сожалению, совершенно так. Напрасно очевиднейшая выгода, настоятельнейшая необходимость указывала им иной путь — в них не было сил идти по этому счастливому пути, в них не было даже способности видеть этот путь. Так, рассудок чуть ли не совершенно бессилен в истории. Напрасно говорить о нем, это пустая идеология. Но если так, почему же не понимают люди хотя этого? Если ослепление рутиной и обстановкой сильнее собственных выгод в человеке, почему же мы не принимаем этого факта, не соображаем с ним наших отношений к человеку?

Есть в истории такие положения, из которых нет хорошего выхода, — не оттого, чтобы нельзя было представить его себе, а оттого, что воля, от которой зависит этот выход, никак не может принять его. Правда, но что же в таких случаях остается делать честному зрителю? Ужели обманывать себя обольщениями о возможности, даже о правдоподобности такого принятия? Мы не знаем, что ему делать, но знаем, чего он по крайней мере не должен делать: не стараться ослеплять других, остерегаться заражать других идеологической язвой, если сам по несчастию подвергся ей, — оставим надежды ребятам, взрослому человеку неприлично ожидать виноградных гроздов на терновнике. <Пусть евангельская притча о дереве, не приносящем добрых плодов, будет руководительницей наших мыслей. Нет, она кажется суровой нашему мягкому уму — мягкому до того, что иногда чувствуешь искушение приписывать это качество просто размягчению мозга.>

Но возвратимся же, наконец, к рассказу о событиях.

Назначение Полиньяка министром было принято всей Францией как следствие решимости Карла X выйти из границ законности для упрочения колебавшегося господ-

ства роялистов. Либералы ужасались, ожидая насильственных мер. Даже многие роялисты, сохранявшие некоторое благоразумие, видели необходимость предупредить короля, что советы слишком опрометчивых товарищей их могут быть для него губительны.

В самом деле, глава министерства Полиньяк был величайший фанатик феодальной партии. Давно он мечтал о сильных средствах к восстановлению старинного порядка. Вильгель, опасаясь неосторожных советов его Карлу X, отправил молодого придворного посланником в Лондон; недовольный умеренностью Мартиныяка, король стал думать о вручении управления своему любимцу, который совершенно сходил с ним в убеждениях. Полиньяк был вызываем в Париж для совещаний с королем, — результатом совещаний была решимость идти до последних крайностей для поддержания господства роялистов. Средство к тому найдено было в 14-м параграфе конституции, который давал королю право «издавать распоряжения и повеления, нужные для безопасности государства». До сих пор все партии соглашались, что тут разумеются единственно административные распоряжения, которыми определялись бы только меры и способы исполнения изданных правильным образом законов, а никак не распоряжения, которые бы отменялись или нарушались законы. Но конгрегация, управлявшая Карлом X и Полиньяком, убила их в возможности и необходимости другого толкования. Король и его любимец приготовились, если не найдут покорности в палатах, избираемых законным образом, без их согласия изменить основные законы королевства.

Слухи о такой решимости распространились в публике. Министерские газеты подкрепляли их, доказывая необходимость крайних средств со стороны министерства. «Уступок больше не будет, — восклицали они, — битва между правительством и революцией возобновлена». Надобно заметить, что под именем революции на языке роялистов разумелись все новые учреждения в гражданском быту; каждый, находивший невозможным полное возвращение к старине, назывался у них революционером, в том числе даже Ройе-Коляр, при Наполеоне постоянно рисковавший жизнью для Бурбонов, и Гизо, бывший посредником между Бурбонами и остававшимися во Франции роялистами во время Ста дней. «Игра началась, — восклицали роялистские газеты, — и надобно знать, что поставлено на карту с той и другой стороны. Мы ставим на карту престол. Это наша последняя ставка: идет ва-банк против ре-

волюции». Но трудно будет управлять государством в противность желанию большинства или с нарушением парламентских форм, возражали осторожнейшие из роялистов, предвидевшие опасность игры, начинаемой фанатиками. Министерские газеты отвечали на их предостережения презрительным гневом. «Есть люди, говорящие о большинстве палат, — они удивляют нас. Скажите, важно или не важно покончить с революцией? Вы говорите: да. Прекрасно. Но если большинству палаты придет в голову думать не так, неужели следует отказаться от спасения? Это было бы забавно. Когда план составлен, когда он не-обходим, следует исполнять его до конца; иначе нельзя спасти общество». Из таких слов были очевидны намерения министерства. Оно решилось не обращать внимания на волю парламентского большинства.

Доведенные до крайности либералы ожидали спасения себе и престолу от приближавшегося собрания палат. Парламентские каникулы кончались. 2 марта 1830 года начались обычным церемониалом заседания палат. Тронная речь открыто выразила намерение правительства прибегнуть к чрезвычайным мерам в случае несогласия большинства с системой министерства. «Пэры Франции, депутаты департаментов, — сказал Карл X, — я не сомневаюсь в вашем содействии к совершению добра, мною желаемого. Вы с презрением отвергнете коварные внушения, распространяемые зложелательством. Но если бы преступные интриги противопоставили моей власти препятствия, которых я не должен, которых я не хочу предвидеть, я нашел бы силу победить их в моей решимости охранять общественное спокойствие».

Вызов был сделан. Не оставалось сомнения в том, что министерство хочет считать преступлением сопротивление палат его системе и намерено прибегнуть к вооруженной силе для подавления беспорядков, которых ожидало само от своих распоряжений. Указание на вооруженную силу было тем оскорбительнее, что не оправдывалось никаким предлогом. Во всей Франции господствовал ненарушимый порядок. Никто из противников министерства не думал переступать границ закона. Все осуждали опрометчивость речи. Но министерские газеты почли нужным комментировать тронную речь следующими словами: «Мы напомним, что Георг III английский публично благодарил солдат, стрелявших по черни, которая собралась освободить из тюрьмы Уилькса, мятежного члена палаты общин». Мало было общей угрозы вмешательством вооруженной

силы; надобно было еще пояснить, что она будет призвана именно против палаты депутатов. Большинство палаты хотело исполнить свою обязанность, выразив королю опасение о гибельности политики, принятой его министрами. Комиссия палаты составила проект адреса, проникнутый тоном почтительным, но печальным. Она считала обязанностью палаты открыть Карлу X глаза на несогласие политики его министров с чувствами нации.

«Среди единодушных чувств уважения и привязанности, которыми окружает вас ваш народ (говорил адрес), обнаруживается в умах живая тревога, возмущающая спокойствие, которым Франция начала наслаждаться, иссушающая источники ее благоденствия и в случае продолжения могущая сделаться гибельной для ее тишины. Совесть, честь, та верность, которой мы поклялись вам и которую навсегда соблюдем, возлагают на нас обязанность открыть вам причину этой тревоги.

«Государь! Конституция, которой мы обязаны вашему августейшему предшественнику и упрочить которую твердо намерено ваше величество, освящает право участия страны в обсуждении общественных интересов. Это участие, как и следовало, производится не прямым, а посредственным образом; степень его мудро измерена, оно заключено в точные границы, и мы никогда не допустим, чтобы кто-нибудь осмелился переступить эти границы; но результат его положителен, потому что оно делает постоянное согласие политических видов вашего правительства с желаниями вашего народа необходимым условием правильного течения общественных дел. Государь! Наша верность, наша преданность престолу обязывают нас сказать вам, что это сочувствие не существует.

Высокая мудрость вашего величества да будет судьей между теми, которые не доверяют нации столь спокойной, столь верной, и между нами, с глубокой уверенностью излагающими вашему сердцу скорбь целого народа, желающего пользоваться расположением и доверием своего короля. Преимущества короны вашего величества дают вам средство упрочить между государственными властями гармонию, первое и необходимое условие силы престола и величия Франции».

Комиссия, составившая проект, старалась избежать в нем всякого выражения, похожего на требовательность. Она хотела только указать на несогласие большинства с министрами, оставляя королю совершенную свободу в выборе средств для восстановления согласия. Адрес не

говорил даже о необходимости перемены министерства. Он говорил только, что король, сохраняя министерство, должен распустить палату или наоборот, сохраняя палату, изменить политику министерства.

Умеренные роялисты согласились на проект адреса вместе с либералами. Он был принят большинством 221 голоса против 181.

Незначительность большинства, принявшего адрес и составленного голосами умеренных роялистов, показывала, каких ничтожных уступок было бы достаточно для примирения с палатой. Довольно было бы министерству отказаться от своих совершенно излишних угроз, не вызываемых ничем. Но крайние роялисты были глухи. 18 марта адрес был представлен; 19 марта заседания палаты отсрочены; через несколько времени она была объявлена распущенной, и назначены новые выборы. Нельзя было сомневаться в том, что эти выборы еще менее прежних будут благоприятны министерству, которому оставалось тогда или удалиться, или прибегнуть к незаконным средствам. Двое из министров, видевшие безрассудство остальных, вышли в отставку. Полиньяк заменил их другими, более решительными.

Действительно, все члены прежней палаты, вотиовавшие адрес, были избраны вновь; большая часть крайних роялистов прежней палаты не попала в новую. Но и новая палата была проникнута преданностью к Бурбонам. На выборах либеральных членов это чувство выражалось с совершенной ясностью; они одобряли адрес прежней палаты, но понимали его в том смысле, какой придавал ему Дюпен старший: «Коренное основание адреса — глубокое уважение к лицу короля; он выражает высочайшее благоговение к древней династии Бурбонов; он представляет владычество законной династии не только как легальную истину, но и как общественную необходимость, которая ныне для всех здравых умов является результатом опыта и убеждения». Словом сказать, ни либералы, ни умеренные роялисты, составлявшие большинство, не дерзали и в глубине своих мыслей касаться прав престола. Они находили только, что политика крайних роялистов несовместна с положением дел. Крайние роялисты имели теперь выбор между двумя решениями: или оставить хотя на время министерство, чтобы дать успокоиться общественному мнению, или подвергнуть престол страшной опасности из-за желания удержать власть в своих руках. Они избрали последнее.

Палаты должны были собраться 3 августа. Еще в начале июля, когда сделался известен результат новых выборов, министры окончательно составили план своих действий. Они положили, пользуясь четырнадцатым параграфом конституции, распустить новую палату прежде, нежели она соберется, изменить одной волей правительства закон о выборах и восстановить цензуру. Совещания министров хранились в глубочайшей тайне, но она не могла скрыться от придворного круга. Все посещавшие дворец догадывались, что приближается время насильственных мер, о которых давно говорили газеты. Крайние роялисты с восторгом передавали друг другу выдуманный анекдот об угольщике, который будто бы сказал королю: «Государь! Угольщик — господин в своем хозяйстве, будьте господином в своем».

Иностранные посланники, слышавшие о намерении Полиньяка, единогласно осуждали его; самодержавные государи Европы разделяли мнения проницательных дипломатов о неблагоразумии мер, на которые склонили Карла X его опрометчивые советники. Меттерних, конечно, не слишком любил конституционный порядок, но и он говорил французскому посланнику при венском дворе: «Нельзя вашему правительству насильственно изменять законов, которыми оно недоволено; единственное средство ему для этого — действовать с согласия палат; другого пути Европа не может одобрить; насильственные меры погубят династию». Люди, желавшие предупредить бедствие, искали другого советника, голос которого внушал бы еще больше уважения французскому королю. Они просили русского императора не оставить Карла X своими советами, и покойный государь Николай Павлович имел с французским посланником при нашем дворе Мортмаром разговор, после которого посланник должен был написать Полиньяку: «Мнение императора таково, что, нарушив конституцию, французское правительство подвергнется катастрофе. Если король захочет прибегнуть к насильственным мерам, он понесет за них ответственность, прибавил император; Карл X должен помнить, что союзники по Парижскому трактату приняли на себя ручательство в сохранении французской конституции». Через несколько времени болезнь принудила Мортмара возвратиться во Францию; графиня Нессельроде дала ему письмо к королю, в котором снова напоминалось, что русский император решительно не одобряет никаких мер, противных конституции.

В Петербурге и в Вене знали о приготовляемых повелениях. Но либералы все еще не хотели верить в их исполнение. Они так были преданы династии, что отталкивали от себя мысль о близости катастрофы. Сами за себя они так боялись волнений, что и в министрах предполагали такое же отвращение от поступков, могших вызвать мятеж в Париже. Они не только не думали воспользоваться насильственными мерами министров для возбуждения народа, они даже были уверены, что народ не может быть возбужден к сопротивлению. За два дня до издания повелений один из предводителей либеральной партии Одиллон Барро отвечал говорившим о возможности волнений: «Вы верите в восстание! О, боже мой! Если конституция будет низвергнута, вас поведут на эшафот, а народ, сложа руки, станет смотреть на это». За два дня до катастрофы он не верил ей и не предчувствовал ее последствий.

Вечером того дня, когда были подписаны повеления, герцог Орлеанский, которому они давали престол, также еще не хотел верить их возможности. Ревностный роялист Витроль, усердию которого Бурбоны больше всего были обязаны тем, что по взятии Парижа в 1814 году союзные монархи вспомнили о них, описывал герцогу дурные признаки, замеченные им поутру в Сен-Клу. Министры скрывались от него, но он предполагал что-то очень недоброе. «Но что же они хотят сделать? — с беспокойством сказал герцог Орлеанский. — Ведь они не могут же обойтись без палат, не могут выйти из конституции».

Советы Меттерниха и русского императора, просьба Вильеля и всех роялистов, не разделявших ослепления крайней партии, были напрасны. 24 июля министры собрались для окончательного просмотра приготовленных ими повелений. Один из них, Гернон Ранвиль, пытался убедить короля и своих товарищей отложить на несколько времени эти повеления. Другой министр, д'Оссе, желал по крайней мере знать, какими силами будут они располагать для усмирения мятежа. «Имеете ли вы в Париже хотя тысяч тридцать войска?» — спросил он Полиньяка. «Не тридцать, а сорок две», — отвечал Полиньяк, перебрасывая через стол ему список войск. «Как, — вскричал д'Оссе, — я вижу здесь только тринадцать тысяч! Тринадцать тысяч на бумаге. — это значит, что на битву только можно вывести семь или восемь тысяч». Но Полиньяк и большинство министров никак не предполагали серьезного восстания. В самом деле, либералы и осуждали по своим убеж-

дениям всякую попытку мятежа, и боялись волнений; народу не было никакой разумной выгоды вступаться в распри между двумя партиями, из которых ни одна не была его партией. Если бы народ не увлекся надеждой на людей, вовсе не заслуживающих этой надежды, Полиньяк был бы прав. Он ошибся только тем, что не принял в расчет бедственного положения народа: отчаяние вовлекло народ в опрометчивость.

24 июля заготовленные повеления были рассмотрены и одобрены министрами. 25 июля министры снова собрались в Сен-Клу, где жил король. Они собрались подписать эти повеления. Молча сели они вокруг стола. По правую руку Карла X был дофин, его сын, по левую руку — Полиньяк. Д'Оссе возобновил свои вчерашние замечания. «Вы отказываетесь подписать?» — сказал Карл X, д'Оссе взял перо и подписал. Экзальтированная решимость, смешанная с беспокойством, выражалась на его лице и лицах его товарищей. Один Полиньяк блистал радостью. Карл X также весело ходил по зале. «Что вы так смотрите?» — сказал он, проходя мимо д'Оссе, глаза которого печально обозревали залу. «Государь, я смотрел, нет ли здесь портрета Страффорда», — отвечал министр¹⁶.

26 июля явились в «Монитере» пять повелений. Первым из них отменялась свобода тиснения¹⁷; вторым распускалась палата депутатов; третьим изменялся закон о выборах; четвертым назначались новые выборы в палату депутатов по измененному закону; пятое содержало некоторые частные распоряжения, вытекавшие из второго.

Либералы и умеренные роялисты были поражены печалью и ужасом. Несколько либеральных членов распушенной палаты депутатов сошлись к Казимиру Перье, одному из своих предводителей. Все были в каком-то оцепенении. «Что нам делать, что нам делать?» — повторяли они друг другу. Никто не знал, что отвечать. Один заикнулся было, что должно протестовать. «Нет, мы теперь не имеем права протестовать, мы уже лишены звания депутатов», — отвечали ему. Другие депутаты собрались у де-Лаборда, туда явился Казимир Перье и объявил, что по распусчении палаты они уже не имеют звания депутатов, что министры ссылаются на конституцию, опираясь на четырнадцатый параграф ее, что, стало быть, остается одна надежда — на самого короля, который раньше или позже увидит ошибочность пути, на который увлекли его. Весь этот день прошел спокойно. По-видимому, министры торжествовали. Но масса медленна в своих движениях. На другой день

началось в ней брожение, которого не замечалось накануне. Через два дня войска были принуждены выступить из Парижа после упорного сражения с простым народом.

Мы не станем рассказывать ход этой битвы: она велась не либералами, и нам нет нужды упоминать о фактах, не относящихся к цели нашего рассказа. Мы хотели только рассматривать интересы и действия двух политических партий, вражда которых составляет самую заметную сторону политической истории Франции в эпоху Реставрации. Только их действия будут занимать нас и в июльские дни.

История роялистов в эти дни очень коротка и проста: они вовлекли несчастного Карла X в гибельную борьбу, которая даже при самом счастливом исходе не могла бы принести ровно никакой пользы для королевской власти, — вовлекли в борьбу единственно с целью восстановления старинного устройства, в сущности враждебного интересам престола. Не трудно догадаться, как должны были поступать такие друзья. Пока волнение только что разыгрывалось, они воображали его ничтожным и чрезвычайно радовались ему: теперь-то будет на их улице праздник! Одной сеткой прикроют они либералов! Они уже сочинили распоряжения об арестовании тех, головами которых особенно интересовались (хотя совершенно напрасно), потому что из этих голов бо́льшая часть не стоила гроша). Но вот дело начало принимать сомнительный оборот — что тут стали делать роялисты? Ни один, разумеется, не шевельнул пальцем для защиты короля, ввергнутого им в гибель. Хотя бы кто-нибудь из людей, для пользы которых Карл X жертвовал собою, взял ружье для его защиты — не взял ни один. Что уже говорить о риске жизнью за престол? Хоть бы один из роялистов подал кусок хлеба, чашку воды несчастным солдатам, которые сражались в душных улицах, под знойным июльским солнцем, изнемогали от голода и жажды, — и этого никто из роялистов не сделал. Те, которые были в Сен-Клу, до последней минуты хлопотали только о том, чтобы скрыть от короля истинное положение дел. Это им удалось превосходно: до той минуты, когда измученные, разбитые войска, отступая из Парижа, пришли в Сен-Клу, Карл X был уверен, что мятеж подавляется, что вот-вот, через час, через полчаса явится к нему депутация Парижа с просьбой о пощаде раскаявшемуся городу. Эта история известна, рассказывать ее нечего. А что же делали те роялисты, которые находились на месте возмущения? Немногие, честнейшие, покрепче заперлись в свои дома, чтобы даже невзначай как-нибудь не

подвергнуться опасности; другие, порасчетливее, уже зазывали сношения с победителями, и, например, великий референдарий¹⁸ Семонвиль разъезжал в коляске по Парижу, непристойными словами ругая безумцев, издавших несчастные повеления. Это — история также известная.

История либералов так же хороша, хотя не так коротка. Мы уже видели их подвиги 26 июля. На другой день, когда некоторые отчаянные головы начали битву, масса либералов перетрусила еще больше. «Плохи дела! — говорил один либеральный мануфактурист своим друзьям. — Дать народу оружие — он пойдет сражаться; не дать — он пойдет грабить». Понятие о движении народа у либералов неотразимо связывалось с понятием грабежа, — таких-то людей бедный Карл X считал революционерами! Но что-то поделявал, например, Лафайет, ужасный предводитель республиканцев? А вот что: по вечеру пришли было к нему посоветоваться несколько воспитанников политехнической школы. Им отвечали, что Лафайет почивает, и будить его нельзя. А что же вообще поделявали либеральные депутаты? Они с похвальной неутомимостью опять-таки собрались у Казимира Перье доказывать друг другу, что не имеют никакого права протестовать, а некоторые прибавляли, что надобно написать письмо к королю — содержание письма можно было читать на их лицах: почти все трусили так, что даже не старались скрывать своего смятения. Даже Вильмен, который не отличался, как увидим ниже, особенно отважными намерениями, говорил, оглядывая дрожавших товарищей: «Не ожидал я найти стольких трусов в одной комнате!» Хозяин Казимир Перье, всегда славившийся пылкостью либеральных речей в палате, дрожал чуть ли не больше всех. У дверей дома под окнами залы, где совещались депутаты, собралось несколько человек молодежи. На них ринулся отряд конницы — напрасно толкались в запертую дверь безоружные юноши, чтобы укрыться от атаки, — дверей не велели отворять, и несчастные были изрублены под глазами депутатов, и дверь не отворилась спасти их. Зато доктор Тибо, приятель генерала Жерара (тоже одного из предводителей либеральной партии), явился к Витролю просить его ехать в Сен-Клу, чтобы искать примирений с Карлом X.

Ночью (с 27-го на 28-е) население Парижа готовится к битве. С раннего утра начинается она уже в серьезных размерах. Опять являются к Лафайету воспитанники политехнической школы, которые уже и накануне дрались. Республиканский вождь проснулся, — теперь они уже не

уйдут без его совета. «Посоветуйте вашим товарищам держать себя смирно», — говорит он им. В 12 часов утра депутаты опять собрались, на этот раз у Одри де-Пюйраво, одного из немногих, выказавших мужество в эти дни. Он знал, каковы его товарищи, и пригласил молодежь собраться на дворе своего дома, чтобы уравновесить другим страхом страх, внушаемый Полиньяком. Моген, также отличавшийся мужеством, начал совещание словами: «Совершается революция, мы должны руководить ею; предлагаю составить временное правительство, требую, чтобы оно было учреждено немедленно». — «Временное правительство? — восклицают в ужасе Себастиани, Шарль Дюпен, Казимир Перье. — Что вы? Да ведь это значило бы нарушать законный порядок! Останемся в пределах закона!» Разумеется, предложение было отвергнуто. Но восстание с того утра охватило уже весь Париж; многие части войска дерутся неохотно, некоторые отряды уже колеблются, готовы присоединиться к инсургентам, другие отряды отступают из улиц, которые должны были очистить, успех инсургентов вообще становится вероятен. Депутаты видели это, притом же со двора слышны крики революционеров. Мужество депутатов под этими влияниями возвышается до того, что Гизо читает сочиненную им протестацию депутатов, — вчера депутаты отвергали мысль о ней, теперь согласились напечатать ее. Зато сколько революционной отваги было в этой протестации! Инсургенты, вчера кричавшие только «да здравствует конституция!», ныне уже сражались при криках «долой Бурбонов!» Протестация депутатов была наполнена выражениями ненарушимой верности к королю. Уважение к законному порядку простиралось до того, что депутаты даже не называли себя депутатами, а только «правильно избранными в депутаты»: они признавали этим силу повеления, распустившего палату и лишившего их звания депутатов. Они говорили не о воле самого Карла X, а только «о советниках, обманувших намерения монарха». Еще два дня назад журналисты издали протестацию гораздо более твердую и подписались под ней. Депутатам, не потерявшим рассудка от робости, совестно было сравнить свою прокламацию с прокламацией журналистов; но они не отважились подвергать прениям проект ее, видя, что при всеобщей робости их товарищей прения поведут только к ослаблению выражений, и без того уже трусливых. Они поспешили убедить собрание поскорее принять проект. Но тут возник вопрос о том, подписывать ли протестацию. Без

подписей она не имела никакого значения; но большинство депутатов не хотело рисковать, и протестация была послана в типографию газеты «Temps»¹⁹. Издатель газеты принес бумагу обратно, говоря, что он не хочет напечатать без подписей такое трусливое объявление, за которое все станут смеяться над ним, если не будут знать имена авторов. Это было уже в четыре часа вечера; инсургенты приобрели много новых успехов; мужество депутатов возросло до того, что они после многих споров отважились согласиться на перечисление в заголовке бумаги всех депутатов, находившихся в Париже, без различия присутствовавших и не присутствовавших на совещании; штука хорошая: ведь это были не подписи, а просто исчисление имен, оставлявшее каждому из упомянутых лиц совершенную свободу сказать потом, что его имя помещено в списке без его согласия и ведома. Всех депутатов на совещании было только сорок один; имен было выставлено шестьдесят три. «Вот и прекрасно, — с иронией сказал Лафит. — В случае поражения никто из нас не подписывал, а в случае победы подписали все». Особенной трусостью по-прежнему отличались знаменитый Казимир Перье и генералы Себастиани и Жерар. Большинство собравшихся депутатов следовало примеру их осторожности. Единственное спасение себе видели они в переговорах с Карлом X, которые при посредстве доктора Тибо вел Витроль. В первый раз Витроль нашел Карла X не расположенным слушать никаких предложений. Когда он возвратился с этими известиями к вечеру, Тибо снова просил его ехать в Сен-Клу с новыми просьбами. «Скажите, что с готовностью исполнят все для охранения королевского согласия от оттенка принужденности, — говорил Тибо. — Если нужно, высшие корпорации парижского управления, члены кассационного суда и апелляционного суда отправятся в Сен-Клу в мундирах; таким образом снисходительность короны не будет казаться уступкой необходимости, а только милостивым ответом на просьбы». Кроме Карла X, депутаты обращались с просьбами к маршалу Мармону, командовавшему войсками в Париже. (Но явиться в главную квартиру маршала представлялось делом столь опасным, что только люди действительно мужественные приняли эти поручения своих товарищей и) Лафит, говоривший с маршалом от их имени, соблюдал достоинство. Он прямо сказал, что если противозаконные повеления не будут отменены, то он «отдаст свою жизнь и состояние в распоряжение парижан». Когда предложения, переданные через Мармона,

были отвергнуты в Сен-Клу, он сдержал свое слово. Из ста человек либеральных депутатов, находившихся в Париже, человек десять выказали такую же смелость; все остальные были без памяти от ужаса. Уже предвиделось, что завтра ни одного солдата не останется в Париже. Уже предвиделось, что инсургенты провозгласят завтра низвержение Бурбонов; но Казимир Перье, вернейший представитель большинства либералов, все еще повторял: «Бурбоны — лучшее правительство для Франции, лишь бы только они отказались от ультра-роялистов». Два раза собирались депутаты этим днем, в двенадцать часов и в четыре часа; в десять часов вечера было назначено третье собрание. Инсургенты приобрели много новых успехов: кроме дворцов Тюильрийского и Луврского и парижской ратуши, почти уже весь город был в их власти; войска были изнурены, отступали со всех позиций, упали духом; переговоры в Сен-Клу и с Мармоном не привели ни к чему; ход событий требовал, наконец, со стороны депутатов мер более решительных. Они чувствовали, что совещание, назначенное в десять часов, не может кончиться одними словами, и что же они сделали? На прежних собраниях из ста или больше человек присутствовало до сорока. В десять часов явились в назначенное место едва десять человек; из них человек семь выказывали мужество; другие трое или четверо явились будто бы только за тем, чтобы показать, каково должно быть состояние духа у остальных, не отважившихся явиться. Лафайет, Лафит, Одри де-Пюйраво, де-Лаборд объявили, что надобно, наконец, прекратить беспорядочное кровопролитие и что они решились на завтра руководить движениями инсургентов. Гизо сидел молча и неподвижно. Себастиани с волнением объявил, что не может присутствовать при таких совещаниях, и, обратившись к другому депутату, Мешену, сказал: «уйдемте». Оба ушли. И остальные разошлись, не решившись ни на что, назначив только новое совещание в шесть часов утра на другой день. При выходе Лафайет был встречен восклицаниями собравшейся толпы. Когда он сажился в карету, один из инсургентов подошел к нему и сказал: «Генерал, я буду говорить от вашего имени; я скажу, что вы приняли начальство над национальной гвардией». (Заметим, что национальная гвардия в случае волнений собирается для того, чтобы быть посредницей между войсками и инсургентами; таким образом командование ею имело бы характер не мятежа, а примирения.) «Что вы хотите де-

лять, — закричал приятель Лафайета Карбонель. — Вы хотите, чтобы генерала расстреляли?»

Поутру в шесть часов (29 июля) явилось в назначенное место (в дом Лафита) так же мало депутатов, как вечером накануне. Огромное большинство все еще не верило близости победы. Ночью инсургенты заняли городскую ратушу; войска, кроме двух-трех казарм, оставались только во дворцах. Но перепуганным либералам отступление солдат казалось их сосредоточением с какими-то страшными целями. Многие уже думали только о средствах оправдаться перед Полиньяком. В девять часов явились к Лафиту еще не более десяти человек. Но инсургенты против ожидания либералов сохраняли все свои позиции, с успехом нападали на войска; Мармон, вчера отвергавший просьбу депутатов о перемирии, теперь уже сам предлагал его. Понемногу депутаты ободрялись, и к двенадцати часам собралось их уже около 30 человек. Лафит открыл заседание изложением необходимости принять деятельное участие в событиях. Лафайет, наконец, объявил готовность взять начальство над национальной гвардией. В эту минуту приходит известие, что Луврский дворец занят инсургентами. До сих пор депутаты слушали Лафита и Лафайета с унылым молчанием, теперь у них развязывается язык, Гизо одобряет намерение Лафайета. Но предложение Могена составить временное правительство все-таки отвергнуто; по предложению Гизо, депутаты решают составить только муниципальную комиссию для управления Парижем в отсутствие правильных властей; таким образом они еще остаются, по своему любимому выражению, «в границах законности». Большинство все еще трепещет ответственности перед Бурбонами. Но вот раздается шум у дверей залы: сержант Ришмон просит, чтобы его пустили; прислуга не соглашается: как можно войти солдату в салон к важным сановникам? Он грозит лакеям эфесом своей сабли и входит в зал. Офицеры и солдаты 53-го линейного полка прислали его объявить, что полк переходит на сторону народа. Депутаты посылают за полком; двор Лафитова дома наполняется солдатами. Депутаты в восторге. Вдруг раздается залп. Невыразимое смятение овладевает ими. Все лица бледнеют. «Нам изменили, нас идут арестовать! Это королевская гвардия гонит инсургентов». Все бросаются бежать. В зале, на лестнице страшная толкотня; многие депутаты вылезают в окна, чтобы спрятаться в саду; двоих нашли потом спрятавшимися в конюшне. В миг Лафит остается в зале один с своим племянником;

что же такое случилось? Солдаты 6-го линейного полка последовали примеру 53-го и, переходя на сторону народа, выпустили на воздух свои заряды. Много времени прошло, пока депутаты оправились от страха и собрались вновь; а между тем одно за другим приходили известия о взятии Тюильри, об отступлении королевских войск к Булонскому лесу, о совершенном очищении Парижа от войск. Когда депутаты успокоились и воротились в залу, битва была уже совершенно кончена. Тогда и Казимир Перье, снова сделавшийся героем, каким являлся в старину на прениях палаты, принял назначение быть членом муниципальной комиссии.

В числе депутатов, разбежавшихся от Лафита, уже не было пяти или шести человек, имевших действительное мужество. Одри де-Пюйраво ушел провожать Лафайета в парижскую ратушу; трое или четверо других с утра того дня управляли инсургентами. Но и они взялись за дело тогда, когда победа уже была решена. Быть может, сами по себе они решились бы на участие в сопротивлении раньше, но робкие товарищи господствовали и над ними.

Лафайет и муниципальная комиссия явились в парижскую ратушу уже по окончании борьбы. Как выигралась победа, ни мало не зависело от них. Но управлять победоносным делом они были не прочь. Впрочем, и в этом занятии они оказались совершенно несостоятельными. Власть, которой они ничем не заслужили, скоро была взята из их слабых рук людьми, еще менее разделявшими опасности, но более ловкими в интригах. Заметим кстати еще одну черту: на крыльце парижской ратуши Лафайет увидел молодого человека с трехцветной кокардой и приказал снять ее: как видим, даже и после совершенной победы в его уме еще не было твердой мысли, что белая кокарда — символ владычества Бурбонов — кончила свое существование.

Опасности уже не было: даже в Сен-Клу убедились, что дальнейшая борьба невозможна. Тогда депутаты начали действовать смелее. Они видели, что парижские инсургенты никак не хотят покориться Бурбонам. Первой мыслью либеральных депутатов было искать других путей к скорейшему восстановлению монархической власти. Депутация за депутацией отправлялась от них на дачу герцога Орлеанского с просьбой, чтобы он принял на себя управление Францией и титул наместника королевства. Изложение происков, интриг и хитростей, которыми была достигнута эта цель, не входит в границы нашего рассказа.

Заметим только, что если бы дело зависело от большинства либералов, Бурбонская династия не перестала бы царствовать во Франции. Несмотря на их чрезвычайную робость, находились даже и 30-го числа между ними люди, протестовавшие в пользу Бурбонов против герцога Орлеанского. В собрании депутатов, составившем формальное приглашение герцогу явиться в Париж для управления Францией, Вильмен говорил: «Вы не имеете права располагать короной». Только твердость Лафита, искренно преданного Луи-Филиппу, удержала депутатов от новых попыток для восстановления Бурбонов.

Таковы-то были люди, которых Бурбоны считали готовыми к мятежу. Не только приготовить мятеж или управлять им, но и принять участие в нем никто из них не решился. Он так же ужаснул либералов, как и роялистов. Обе партии одинаково не умели даже предвидеть его. Насколько позволила им робость, либералы в продолжение волнений делали все, чтобы предохранить династию от падения. Они делали ей постоянные предложения примириться с Парижем. Когда же инсургенты против воли либералов низвергли династию, они поспешили восстановить монархию при помощи единственного принца, пользовавшегося популярностью. Они так спешили этим делом, что передали ему власть без всяких условий, и герцог Орлеанский вступил на престол с теми же самыми правами, какими пользовались Бурбоны. После июльских дней роялисты лишились всякого влияния на правительство, перешедшее исключительно в руки либералов; но, сравнивая власть Луи-Филиппа с властью Людовика XVIII, мы не заметим никакого уменьшения в ней от победы либералов. Правда и то, что не либералы одержали эту победу: они только присвоили ее себе.

Либеральные историки могут находить чрезвычайный прогресс в Орлеанском правительстве сравнительно с Реставрацией. Некоторых перемен во многих частностях и даже в общем духе управления нельзя не признать. Иезуиты утратили прежнюю силу над правительством; газеты, хотя и не могли назвать себя совершенно независимыми от произвола, как в Англии, все-таки сделались несколько самостоятельнее; судебное сословие также приобрело несколько большую независимость от произвола министров и с тем вместе несколько больше прежнего стало подчиняться общественному мнению; оттого правосудие улучшилось; избирательный ценз был значительно понижен. Таких частностей можно набрать много. Но

главная перемена состояла в том, что опасность, грозившая новому гражданскому устройству при Бурбонах, теперь миновалась. Впрочем, цена этого выигрыша значительно понижается тем, что и при Бурбонах опасность ограничивалась только словами; на самом же деле самые безрассудные ультра-роялисты и даже сам Полиньяк не отваживались предпринять ничего существенно важного к восстановлению средневековых злоупотреблений. Они мечтали о старинном порядке, кричали о нем, но едва задумывали начать что-нибудь важное для исполнения своих планов, как уже отступали перед действительностью. С 20-го года феодальная партия управляла государством беспрекословно. Что же особенного осмелилась она сделать для осуществления своих теорий? Она составила закон о майоратствах, но такой робкий закон, который мог только раздражать своей несовременностью, а никак не изменить гражданских отношений на самом деле, да и от того она отказалась при первой неудаче. Важнее была выдача вознаграждения эмигрантам. Но как ни кричали некоторые ораторы о политическом значении этой меры, в сущности она осталась не более как выдачей пособия членам и клиентам придворного круга. Бесспорно роялисты враждовали против нового гражданского устройства; но оно укоренилось уже так прочно, что изменить его не было возможности, и вражда оставалась бессильна. Во всяком случае, разумеется, имела некоторую важность перемена, уничтожившая даже угрозы на словах тому, что не было никогда в опасности на деле. Хотя очень мало, но все-таки несколько выиграл новый гражданский порядок через замещение Карла X, Полиньяка и Шатобриана Луи-Филиппом, Гизо и Казимиром Перье.

Мы не напрасно кончили исчисление выгод новой системы сопоставлением собственных имен: в перемене фамилий состояла существеннейшая часть переворота. В эпоху Реставрации правительственная власть находилась в руках старинных феодальных фамилий; при Орлеанской династии управляли Францией люди среднего сословия. И прежде управление велось в интересах среднего класса: вести его иначе не было физической возможности; но все-таки кое-что успевали сделать потомки феодалов и для своего сословия. Теперь средний класс был избавлен от этих мелочных неприятностей. Сам управляя всеми делами, он мог, разумеется, лучше соблюдать свои интересы, нежели соблюдались они людьми другого сословия, хотя и не бывшими в состоянии нарушить выгод среднего со-

словия ни в чем существенно важном, но все-таки старавшимся по возможности вредить ему в пустяках.

Выигрыш государства был хотя и не велик, но все-таки несомненен: оно избавилось от опасений, правда, лишенных фактического основания, но тем не менее тревоживших его. Выигрыш среднего сословия был довольно велик. Королевская власть ничего не проиграла от июльского переворота. Что же выиграл простой народ, силой которого среднее сословие освободилось от своих противников? Простой народ сражался без всяких определенных собственных требований; он увлекся тяжестью своего положения к участию в вопросах, чуждых его интересам; он не озаботился продать свое содействие, не выторговал себе никаких условий прежде, чем примкнуть к той или другой стороне. Разумеется, он не получил ничего.

Напрасная борьба династии против новых интересов, нимало не враждебных выгодам королевской власти; напрасный союз ее с партией, от торжества которой не могла она желать никакой пользы для себя, против партии, искренно желавшей союза с династией, выгодного для династии; оставление народа беззащитным и безнадежным вследствие противоестественного союза династии с феодалами; увлечение народа отчаянием к восстанию, гибель династии без пользы для народа — вот в коротких словах история реставрации. Реакционеры понесли наказание, которого заслуживал их эгоизм; но грустно то, что династия ради удовольствия этих бездушных эгоистов готовила себе ненужную погибель.